

Сэр Эдвард Бульвер-Литтон

ЗАНӨНИ ZANONI

(«Призрак»)

ОККУЛЬТНЫЙ РОМАН



Эдвард Бульвер-Литтон

Занони (сборник)

«Остеон-Групп»

1842

Бульвер-Литтон Э. Д.

Занони (сборник) / Э. Д. Бульвер-Литтон — «Остеон-Групп» ,
1842

ISBN 978-5-00064-269-6

Эдвард Джордж Бульвер-Литтон был талантливым историком и публицистом, блестящим оратором и крупным политическим деятелем – сначала либералом, потом консерватором. Но главное для нас, что он был глубоким и самобытным писателем. Его перу принадлежат 24 романа, 9 пьес, несколько поэм и сборник стихотворений. О нем также известно, что он водил дружбу со спиритами и медиумами. По воспоминаниям его сына, Бульвер-Литтон был членом Розенкрейцеровского Братства. Плоды этих мистических, оккультных увлечений мы видим в его романах «Занони», «Странный человек» и «Грядущая раса» – произведениях, наиболее дорогих сердцу автора, в которые он вложил все силы своего духа, укрепленные чтением разнообразной литературы по тайным наукам и инстинктивным пониманием и умением ориентироваться в духовных учениях Запада и Востока. Эти таинственные романы, где Бульвер-Литтон развивает свою теорию магии, стоят особняком в его творчестве. В них действуют существа, принадлежащие совсем другой, сверхчувственной, сфере реальности. Мир предстает читателю сквозь призму гнозиса, неоплатонизма, каббалы, алхимии и учения розенкрейцеров XV–XVIII веков. В настоящий сборник также включена мистическая новелла Бульвер-Литтона «Привидения и их жертвы».

ISBN 978-5-00064-269-6

© Бульвер-Литтон Э. Д., 1842

© «Остеон-Групп» , 1842

Содержание

Об авторе	6
Том I	9
Книга первая	9
Книга вторая	33
Книга третья	62
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Эдвард Бульвер-Литтон

Занони

Об авторе



Вначале: Бульвер-Литтон глазами соцреалистов

(статья из «Литературной энциклопедии 1930 г.)

БУЛЬВЕР-ЛИТТОН Эдуард Джордж [Edward George Bulwer Lytton, 1803-1873] – английский писатель, выразитель идеологии упадочного дворянства первой половины XIX в. Творчество Б. характерно для переходного периода от дворянского романтизма [В. Скотт (см.), Байрон (см.)] к буржуазному реализму [Диккенс (см.)]. Раннее его творчество весьма близко к творчеству Байрона и отчасти Соути (см.).

Вместе с тягой на Восток его произведения выражают тоску, разочарование, одиночество в духе героев Байрона, или Гётевского Вертера («Фольклэнд», «О'Нейль»). Б. писал исторические романы, напоминающие романы В. Скотта («Последний король саксов», «Последний барон», «Последние дни Помпеи»). От романов В. Скотта они отличаются тем, что в них преобладает не историческая обстановка – быт, – характерная особенность романов В. Скотта, а сильная личность. Б. даже формой своего творчества отразил путанную идеологию определенной группы английского дворянства, к-рая металась от одной социальной группы к другой, приспосабливаясь к новым условиям капиталистического производства и быту буржуазного общества. В творчестве Б. преобладают две основные темы: падение дворянина на дно в результате неудачного приспособления к капиталистическому обществу, вырождение его в босняка и преступника, другими словами полная его деклассация, и более или менее удачное приспособление дворянина, старающегося удержать свое положение в обществе всевозможными ухищрениями и уловками. Однако падение дворянина на дно у Б. не изображено в связи с социально-экономической обстановкой. Причины падения, по Б., большей частью пси-

хологические: неудавшаяся любовь, месть за попорченную честь, свою или близкого человека и т. д. Наиболее ярко Б. изобразил дворян, удерживающих свое положение в обществе, в романе «Пелгем».

Герои Бульвер-Литтона сознают, что основным нервом капиталистического общества являются деньги, но их взгляд на деньги и на способ их добывания значительно отличается от буржуазного. Буржуа считал, что деньги надо добыть путем упорного труда, участвуя в процессе производства. Для героев Б., цепляющихся за жизнь, «все счастье в деньгах», но добывание их они мыслят в виде внезапного получения богатого наследства, женитьбы на богатой вдове, выигрыша в карты. Им совершенно чуждо делячество буржуазии, ее предприимчивость. Другого отношения к миру и не могло (напр. в романе «ДеверЖ») быть у вымирающего дворянства. В романах Б. поэтому часто встречается такая завязка, как лишение наследства, подделка или пропаша завещания, подложное завещание, похищение завещания и т. д. Один роман даже озаглавлен «Лишенный наследства», а пьеса – «Деньги». Такое добывание денег у Б. стоит всегда на грани преступления. Б. пробовал свои силы в уголовном романе («Лукреция или дети ночи»), но потерпел полную неудачу. В романе одно преступление следует за другим (преступление ради преступления) без всяких видимых оснований и художественной правдоподобности. Этот роман был резко осужден критикой.

Романы «Кэкстон» и «Мой рассказ» написаны в духе Стерна (см.) с большой долей диккенсовского юмора. В погоне за юмором Б. приблизил некоторых героев к карикатуре. Действие в «Кэкстоне» не выходит за пределы семьи и персонажи его не являются ни общественными, ни психологическими типами-образами.

Другие произведения Б.: романы «Что он с этим сделает» и «Парижане» (незаконченный) особого интереса не представляют.

В свое время Б. пользовался большой популярностью, был переведен на многие яз., в том числе и на русский, но в настоящее время забыт. Б. затрагивал проблемы только своего класса, к-рый в его время стоял на пути к исчезновению. Среда Б.-Л. не выдвигала больше таких проблем, к-рые надолго остались бы нерешенными человечеством.

Бабух С.

Литературная энциклопедия: В 11 т. – [М.], 1929–1939.

Т. 1.–[М.]: Изд-во Ком. Акад., 1930.–Стб. 613–615.

Взгляд наших дней: Бульвер-Литтон как фантаст и мистик

Бульвер-Литтон был членом общества английских розенкрейцеров, интересовался оккультизмом, и многие его произведения («Занони» и другие в жанре ужасов) следует читать именно в таком контексте.

Впервые роман «Занони» был издан в Лондоне в 1842 г. Первый русский перевод под заглавием «Призрак» появился в 1879 г. в Санкт-Петербурге и напоминал скорее несовершенный подстрочник. В этом переводе (а других, насколько нам известно, не имеется) многие абзацы и целые страницы английского текста были опущены, в особенности это касается тех мест, где речь идет об оккультной стороне Розенкрейцеровского учения. Кроме того, в последней, 7-й книге романа – «Царство Тerrors» – неизвестным переводчиком пропущены первые три главы английского оригинала, а в других главах исключены значительные по объему фрагменты текста.

Также современному читателю может быть интересен и его поздний роман «Грядущая раса» (1871), одно из первых произведений научной фантастики, где рассказывалось о сверхцивилизации, живущей под поверхностью Земли. Тут впервые появляется придуманное автором понятие «Вриль» для обозначения магической энергии; тот, кто овладевает ей – становится хозяином своей судьбы и всего мира.

Том I



Книга первая Композитор

I

Во второй половине последнего столетия жил в Неаполе один артист по имени Гаэтано Пизани. Это был гениальный, но неизвестный композитор; во всех его произведениях было что-то капризное и фантастическое, что не нравилось неаполитанским дилетантам. Он любил странные сюжеты; и арии и симфонии, сочиненные им, пробуждали в слушателях что-то вроде ужаса. Заглавий этих опер будет, конечно, достаточно, чтобы дать понятие об их характере. Я нахожу, например, между его манускриптами: «Пиршество гарпий», «Колдуньи Беневенто¹», «Сошествие Орфея в ад», «Фурии» – и много других, которые указывают на его сильное воображение и в которых преобладает ужасное и сверхъестественное, несмотря на то, что часто среди его мрачных произведений встречается легкая, приятная мелодия.

Выбирая свои сюжеты из древней мифологии, Гаэтано Пизани был верен исконным свойствам и традициям итальянской оперы.

«Сошествие Орфея в ад» было только более смелым и мрачным повторением «Эвридики», которую написал Якопо Пери на бракосочетание Генриха Наваррского и Марии Медичи². Однако, как я уже сказал, стиль неаполитанского композитора не нравился слушателям, которые стали слишком разборчивы касательно мелодии благодаря изысканной тонкости произведений того времени: ошибки и нелепости, легко отыскиваемые в сочинениях Пизани, снабжали критиков темами для многочисленных разборов.

Если бы бедный Пизани был только композитором, он бы, конечно, умер с голоду; но, к счастью для него, он обладал громадным талантом исполнителя на скрипке и был обязан этому инструменту своим скромным существованием как член оркестра большого театра Сан-Карло. Там он должен был исполнять точно определенную, назначенную работу под строгим присмотром, усмирив, конечно, свою дикую фантазию, и все-таки, если верить истории, пять раз его просили о выходе из оркестра по причине своевольных импровизаций – такого стран-

¹ Город на Юге Апеннинского полуострова; с 1077 по 1860 г. папское владение.

² Орфей был любимым героем возникающей оперы. «Орфей» Анджелико Политьена был в моде в 1475 г. «Орфей» Монтеверди был исполнен в Венеции в 1667 году.

ного и ужасного характера, словно гарпии и колдуньи, его вдохновительницы, раздирали своими ногтями струны инструмента. Но в его спокойные и светлые минуты невозможно было найти подобного ему артиста. Ему нужно было часто напоминать об обязанностях, в конце концов, он покори́лся необходимости адажио и аллегро.

Публика, зная его слабость, строго следила за ним, и, если он на минуту забывался, что часто обнаруживалось странной судорогой в лице или нервным движением смычка, тотчас подымался общий ропот, который остерегал бедного музыканта и, выводя его из преисподней на землю, возвращал к определенным обязанностям. Тогда можно было видеть, как он вздрагивал, будто очнувшись от сна, бросал вокруг себя, как бы извиняясь, быстрые и испуганные взгляды; потом с потерянным и униженным видом возвращался к должной игре. Но дома, после концерта, он вознаграждал себя. Там, схватив свою несчастную скрипку дрожащими руками, он извлекал из нее, часто до самого утра, странные и фантастические аккорды, и не раз рыбак, испуганный и удивленный этой дикой гармонией, чувствовал себя охваченным суеверным страхом и крестился, как будто какая-нибудь сирена или водяной дух испускал жалобные стоны.

Наружность Пизани была сообразна со свойством его таланта. Его черты были благородны и выразительны, но угрюмы; черные волосы спускались локонами, а большие глаза, глубоко вдававшиеся, бросали мечтательные и странные взгляды. Все его движения были странны, порывисты и резки, как и мысли, волновавшие его; и когда он проходил по улицам, то говорил и смеялся сам с собой. Впрочем, это была Смирная, невинная и бесхитростная натура. Он охотно делил свои деньги с первым негодяем, которого встречал на своем пути. А между тем он был в высшей степени нелюдим. У него не было друзей, он не льстил ни одному из покровителей и не посещал веселых обществ, любимых детьми Юга. Его талант и он сам, казалось, гармонировали друг с другом: оба были оригинальны, первобытны, суровы! Разлучить его с музыкой было невозможно; она была им самим. Без нее он был ничем... простой машиной. С ней он был светом света, его творением.

Несмотря на все эти странности, у него было одно чудное, неподражаемое произведение: его опера «Сирена». Это великое произведение было мечтой его детства, возлюбленной его молодости, и с приближением старости «Сирена» стояла перед ним, подле него, как воспоминание его молодости. Он напрасно старался издать ее в свет. Даже Паизьелло, простак, совершенно чуждый зависти, и тот покачал своей благосклонной головой, когда автор передал маэстро капеллы одну из своих самых интересных сцен. Но терпение, Гаэтано, жди твоего часа и не теряй твоей любви к искусству.

Как бы странно это ни показалось любезным читательницам, но чудаковатый музыкант имел те связи, на которые обыкновенные смертные охотно смотрят как на свою исключительную монополию: он был женат; у него был ребенок. И еще более странная вещь: его жена была гораздо моложе его, красивая и добрая, с ласковым личиком англичанки; она вышла за него по любви, и (поверите ли, сударыни?) она его еще любила.

Как она решилась выйти за него замуж? И каким образом это робкое, застенчивое, странное существо осмелилось просить у нее руки? Это вопросы, на которые я могу ответить, только если вы объясните мне, каким образом половина мужей и половина жен, которых вы видите, нашли возможность соединиться. Поразмыслив хорошенько, однако, можно было бы заключить, что этот союз не имел ничего особенно странного. Молодая девушка была незаконным ребенком родителей, слишком благородных для того, чтобы признать ее. Ее увезли в Италию для изучения искусства, которое могло бы дать ей средства к жизни, так как она имела художественный вкус и голос; в пансионе она находилась в подчиненном положении и подвергалась дурному обращению; бедный Пизани был ее учителем, и из всех людей он был единственным, который никогда не упрекал и не бранил ее. Так что естественно это или нет, но они поженились. Молодая женщина любила своего мужа; как она ни была молода и неопытна, можно было

сказать, что из них двоих жена покровительствовала мужу. Сколько раз он избегал неприятностей в консерватории благодаря тайному и усердному посредничеству своей жены!

Он был слабого здоровья, и она, не щадя себя, ухаживала за ним. Часто, темною ночью, она ждала его у театра, со своим фонарем, чтобы светить ему и поддержать его твердою рукою. И кроме того, она знала и умела с таким терпением и с восхищением слушать эти бури эксцентричных и лихорадочных мелодий и отрывать его, осыпая похвалами, от долгих ночных бдений, принуждая немного отдохнуть и заснуть. Я говорил, что его музыка составляла часть его самого, а его жена, казалось, составляла часть его музыки.

Когда она сидела подле него, все, что было нежного и очаровательного в его несвязных произведениях, воплощалось в его игре. Ее присутствие действовало на его музыку, смягчая ее, он же, никогда не искавший причины своего вдохновения, и не подозревал этого. Он знал только одну вещь: что он любим, и благословлял ее. Он был уверен, что говорил ей об этом двадцать раз на дню; а между тем ни разу и не упомянул. Это был человек неоткровенный, даже со своей женою. Его собеседником была музыка; ей он посвящал все свои заботы! Он был более предрасположен к общению со своим инструментом... С ним он мог говорить в продолжение целых часов; он хвалил его, бранил, ласкал, что я говорю? (таков человек, и человек самый невинный!) – он проклинал его; можно было слышать какое-нибудь бранное слово между двумя нотами; но эта обида сопровождалась постоянно самым искренним раскаянием. Инструмент его имел также свой собственный язык; он умел защищаться при необходимости, и, когда ему приходило на ум побраниться в свою очередь, победа всегда оставалась за ним. Его скрипка была благородной особой, образцовым произведением знаменитого Штейнера.

Ее лета делали ее сокровищем. Сколько рук, теперь превратившихся в прах, заставляли дрожать ее струны, раньше, чем она сделалась неразлучной подругой Гаэтано Пизани! Ее футляр также был почтенным; он был превосходно разрисован, как говорят, знаменитым Гаррахом. За этот футляр один английский коллекционер предлагал ему больше, чем Пизани когда-либо мог приобрести своей скрипкой.

Но Пизани, совершенно довольный хижинкой для самого себя, гордился возможностью дать дворец своему инструменту. Его скрипка была старшая из его детей. Теперь нужно заняться младшей.

Как изображаю я тебя, Виола? Музыка, конечно, имела влияние на развитие этой молодой девушки. В ее лице и характере можно было видеть семейное сходство с той странной жизнью – музыкой, которая каждую ночь изливалась в воздушных и фантастических порывах... Она была красива, но особенной красотой; это было соединение противоположных элементов. Ее волосы были из золота более роскошного и чистого, чем можно его видеть даже на Севере. Но ее глаза светились томным блеском, сильнее, чем итальянским, почти восточным. Цвет лица, удивительной чистоты, беспрестанно менялся, то оживляясь, то становясь бледным. С цветом лица и выражение одинаково менялось: то оно было чрезвычайно печально, то ничего не могло быть веселее. Я с сожалением должен сказать: на то, что мы называем образованием, родители молодой девушки не обращали должного внимания. Без сомнения, они многое не могли сообщить ей; науки к тому же не были в моде, как теперь; но случай или природа благоприятствовали молодой Виоле. Она научилась, по крайней мере, языкам своей матери и отца. Она нашла также скоро средство выучиться читать и писать; а ее мать, католичка, рано научила ее молиться. Только, к сожалению, а может быть, и к счастью, странные привычки Пизани, заботы, которых он требовал у своей жены, оставляли часто ребенка одного со старой служанкой, которая горячо любила девочку, но которая была не в состоянии дать ей воспитание.

Джионетта была с ног до головы итальянка и неаполитанка. Вся ее молодость была любовью, все, что ей оставалось в жизни, было суеверием. Она была болтуня и наполовину сумасшедшая. То она говорила ребенку о князьях, которых видела у своих ног; то леденила в ней кровь сказками и легендами о демонах, о вампирах, о ночных танцах вокруг огромного оре-

хового дерева. Все эти рассказы способствовали тому, что на воображение Виолы легла таинственная завеса, которую более зрелая мысль впоследствии напрасно будет стараться отстранить. Но это романтическое воспитание заставляло ее слушать с удовольствием, исполненным ужаса, музыку своего отца; эти чудные аккорды, старавшиеся донести в разбитых и странных звуках разговор людей неизвестного мира, баюкали ее с самого рождения. Можно было сказать, что ее душа питалась музыкой: собрание мыслей и воспоминаний, ощущение печали и удовольствия все мешалось необъяснимым образом с этими аккордами, которые то очаровывали, то пугали ее. Они встречали ее, когда она открывала свои глаза при лучах солнца; они будили ее в постели посреди темной ночи. Легенды и сказки Джионетты служили только для того, чтобы дать лучше понять ребенку смысл этой таинственной гармонии... Она составляла целые поэмы к отцовской музыке. Дочь такого отца не могла не выказать какой-нибудь склонности к его искусству. Еще ребенком она божественно пела.

Важный сановник, имевший влияние в консерватории, услышав о ее таланте, велел привести девушку к себе. С этой минуты ее судьба была решена: она должна была стать славой Неаполя, примадонной Сан-Карло. Чтобы пробудить в ней дух соревнования, Его Превосходительство взял ее однажды вечером в свою ложу: для нее, конечно, было событием увидеть представление, еще более услышать аплодисменты, расточаемые блестящим синьорам, которых ей предстояло превзойти. Каким великолепием казалась для нее эта жизнь сцены, этот идеальный мир музыки и поэзии, единственный, который, казалось, мог соответствовать странным мечтам ее детства!.. Ей казалось, что, заброшенная на чужбину, она вернулась наконец на родину. Она узнавала формы и язык своей родной страны. Это был глубокий и действительный восторг будущего гения! Ребенок, или человек, ты никогда не будешь поэтом, если не почувствовал всего идеала, всего романтического очарования этого острова Калипсо, которое открылось тебе в тот день, когда в первый раз магическая завеса раздвинулась, чтоб пропустить свет поэзии. Посвящение в таинство было начато. Ей нужно было читать, учиться выражать жестом или взглядом любовь, которую она должна была выказывать на сцене, – уроки, опасные, конечно, для многих других, но не для чистого восторга, рождающего искусство, так как душа, которая постигает искусство в его истине, есть только зеркало; чтоб верно отразить образ на своей поверхности, это зеркало должно остаться без пятен.

Ее роли получили в ее устах могущество, которого она не сознавала, ее голос трогал до слез или воспламенял сердце благородным негодованием. Но все эти результаты были только следствием той симпатии, которую гений, даже в своей невинности, чувствует ко всему, что живет и что страдает. Виола не была из тех женщин, скороспелых натур, которые понимают любовь или ревность, выраженные в стихах; ее талант был одной из тех странных тайн, загадку которых я предоставляю отгадывать психологам. Они, может быть, сумеют объяснить нам, почему дети, с наивным и простым умом, с чистым сердцем, умеют отличить с такой проницательностью в истории, которую вы им рассказываете, в песне, которую вы им поете, истинное и ложное искусство, любовь и злобу. Они скажут нам также, каким образом эти юные сердца могут точно передавать мелодичные звуки естественного волнения.

Вне своих занятий Виола была простым, любящим ребенком, немного капризным, но не с характером (она была ласкова и послушна). Ее расположение духа переходило от грусти к веселости, от радости к унынию без всякой видимой причины. Если и существовала причина этих капризов, то ее нужно видеть в тех первых и таинственных влияниях, их можно объяснить действием быстрых переливов гармонии, которую она постоянно слышала, – так как необходимо заметить, что у людей, самых впечатлительных в музыкальном отношении, арии и мотивы часто приходят на ум во время самых обыкновенных занятий, мучат их и порою неотступно преследуют их. Раз вошедшая в душу музыка никогда не умирает. Она неясно бродит по изгибам в лабиринте памяти, и даже через много лет ее можно услышать внятно и живо, как в тот день, когда в первый раз она поразила вас.

Так было и с Виолой. Иногда ее фантазия вызывала против ее желания эти звуки; они являлись ей то веселыми, и тогда вызывали сияющую улыбку на ее лице, то грустными, и тогда лоб ее хмурился, они прогоняли ее детскую радость и заставляли задумываться и уединяться. Мы можем справедливо сказать, что это прекрасное создание, столь воздушное, столь гармоничное в своей красоте, в своих поступках и мыслях, могло назваться дочерью не музыканта, а музыки. Потому не было ничего странного в том, что Виола с самого детства, по мере того как она развивалась, думала, что судьба приготовляла ей будущее, которое должно было быть в согласии с романтической и идеальной атмосферой, которой она дышала.

Нередко она бродила между кустарниками, которые украшали соседний грот Позилина, и там, сидя у священной могилы Вергилия, предавалась видениям, которых никакая поэзия не сумела бы ясно передать.

Часто в осенний день она садилась у порога, под тенью виноградных лоз, против неподвижного и синего моря, и строила свои воздушные замки. Кто из нас не делает того же самого, не только в молодости, но и в зрелые лета! Но эти мечты Виолы были более чисты, более торжественны, чем те, которым предается большая часть из нас.

II

Наконец воспитание окончено. Виоле скоро шестнадцать лет! Кардинал объявил, что настало время, когда новое имя должно быть вписано в «*Libra d'Oro*»³, на блестящие страницы, предназначенные детям искусства и гармонии.

Да, но в какой роли? Какой маэстро должен вдохновить ее? В этом-то и заключалась тайна.

Ходил слух, что неподражаемый Паизьелло, восхищенный ее талантом, собирался написать новое произведение для дебюта Виолы.

Другие предполагали, что она отличается комическим талантом и что Чимароза работает без остановки над вторым «*Matrimonio segreto*»⁴. А между тем стали замечать, что кардинал в скверном расположении духа.

Он публично сказал, и эти слова не предвещали ничего хорошего:

– Это маленькая дура такая же сумасшедшая, как и ее отец; то, чего она просит, – безрассудно.

Аудиенции быстро следовали одна за другой. Кардинал часто разговаривал в своем кабинете с бедной девушкой.

Неаполь, возбужденный любопытством, терялся в догадках.

Увещания кончились ссорой, и Виола возвратилась в свое угрюмое жилище; она не хочет играть, она уничтожила свой ангажемент! Пизани, слишком неопытный для того, чтобы знать все опасности театральной жизни, надеялся, что кто-нибудь по крайней мере с его именем прибавит славы его искусству.

Упрямство дочери не понравилось ему. Он, однако, ничего не сказал (он никогда не бранился), но схватил свой верный инструмент, и тот бранился ужасно! Он скрежетал, завывал, ворчал.

Глаза Виолы наполнились слезами, так как она понимала этот язык. Она украдкой подошла к матери и шепотом стала говорить с ней; и когда Пизани кончил свое занятие, он увидел их обеих, мать и дочь, в слезах. Он с удивлением посмотрел на них; потом, почувствовав, что был груб, он снова схватил своего неразлучного друга. И теперь вы подумали бы, что слышите пение феи, которая старается успокоить капризный нрав какого-нибудь прием-

³ «Золотую книгу» (итал.)

⁴ «Тайный брак» (итал.).

ного ребенка. Светлые, серебристые ноты полились с нежным журчанием из-под магического смычка. И величайшая скорбь утихла бы, чтобы слушать; а в промежутках, сквозь тихую и жалобную мелодию, прорывалась вдруг странная, веселая, звучная нота, как взрыв хохота; но не человеческого хохота. Это был один из самых лучших мотивов его любимой оперы: сирена усыпляет своим пением ветры и волны.

Неизвестно, что бы последовало, но его руку остановили. Виола бросилась к нему на грудь и поцеловала его с улыбающимся от счастья взглядом.

В ту же минуту отворилась дверь, вошел посланник кардинала. Он требовал Виолу к себе немедленно.

Ее мать пошла с ней во дворец Его Превосходительства.

Примирение было полнейшее: все устроилось. Виола получила роль и выбрала свою оперу.

Холодные и жесткие нации Севера, не думайте постигнуть волнение неаполитанцев, вызванное известием, что они увидят новую оперу и новую певицу! Никогда интриги государственного совета еще не были так таинственны.

Пизани вернулся однажды вечером из театра в явном волнении и раздражении. Его отрешили от спектакля из боязни, что новая опера и первый дебют его дочери как примадонны станут ужасным испытанием для его нервов. А все его импровизированные вариации, вся чертовщина с сиренами и гарпиями во время такого торжества показалась дирекции театра слишком страшной перспективой.

Видеть себя отстраненным от работы, и именно в тот вечер, когда его дочь должна была петь, устраненным ради какого-нибудь нового соперника! Это было уже слишком для музыканта.

Вначале он спросил дочь, какую дают оперу и какую роль она исполняет. Виола важно отвечала, что она обещала кардиналу хранить это в тайне.

Пизани не настаивал; он исчез со скрипкой, и вскоре с крыши дома (куда артист иногда скрывался, находясь в страшном гневе) слышались унылые, грустные звуки, будто его сердце разбили.

Привязанность Пизани мало выказывалась. Он не был из тех нежных и ласковых отцов, которые любят, чтобы их дети играли и находились непрестанно рядом с ними: его ум и его душа были так погружены в искусство, что домашняя жизнь проходила для него как сон.

Это часто случается у людей, которые погружены в какую-нибудь науку. Эта способность нередко проявляется у математиков.

«Хозяин! Дом горит!» – воскликнула сильно испуганная служанка, обращаясь к французскому ученому. «Скажите об этом моей жене; разве я когда-нибудь занимался хозяйством, глупая?»

И он вернулся к решению своей задачи.

Но что такое задача? Что такое математика в сравнении с музыкой – с музыкой, которая воплощается в оперы и в игру на скрипке?

Знаете, что ответил знаменитый Джаурдини новичку, спрашивавшему у него, сколько понадобится времени, чтобы научиться игре на скрипке? Слушайте и отчаивайтесь все те, которые желали бы владеть этим искусством, подле которого искусство Улисса кажется детской игрушкой:

– Двенадцать часов в день в продолжение двадцати лет подряд.

Как же вы хотите, чтоб человек, играющий на скрипке, возился бы со своими детьми?

Не раз бедная Виола убегала из комнаты, чтобы поплакать, думая, что отец ее не любит.

А между тем под этим внешним равнодушием артиста скрывалась глубокая нежность отца; и, делаясь старше, Виола, сама мечтательница, поняла мечтателя. А теперь, лишенный

сам славы, он видел себя лишенным возможности видеть славу своей дочери! Видеть эту дочь в заговоре против него! Такая неблагодарность была ужасна...

Наконец наступил торжественный час. Виола поехала с матерью в театр.

Раздраженный музыкант заперся у себя.

Вдруг Джионетта вбежала в комнату.

– Карета Его Превосходительства стоит у дверей; он спрашивает вас. Нужно бросить скрипку, надеть новое платье и кружевные рукава. Вот они! Скорей! Скорей!

И быстро покатила золоченая карета, и кучер важно сидел на козлах, и важно гарцевали лошади.

Бедный Пизани терялся от удивления. Он приехал в театр, вышел у большого подъезда и начал осматриваться.

Ему чего-то не доставало. Скрипка! Где она? Увы! Его душа, его голос, само его «я» остались дома. Теперь лакеи ведут только бездушный автомат и проводят в ложу кардинала. Но что это за звуки поразили его слух? Не сон ли это?

Первый акт кончился (за ним послали, только когда успех не казался уже сомнительным); первое действие все решило.

Он чувствует это по неподвижности недоумевающей публики, он чувствует это даже по поднятому пальцу кардинала. Он видит свою Виолу на сцене, сияющую камнями и дорогими тканями; он слышит ее голос в тысяче сердец, которые составляют одно. Ведь его музыка – это его второе дитя, его бессмертное дитя, бесплотная дочь его души, та, которую он создал, возвысил, лелеял в продолжение стольких лет, это его образцовое произведение, его «Сирена».

Так вот в чем состояла тайна, раздражившая его; вот что было причиной ссоры с кардиналом, тайна, которую можно было только тогда открыть, когда успех был верен, – и дочь присоединила свое торжество к торжеству своего отца. И вот она стоит перед всеми этими людьми, сердца которых она покоряет, более прекрасная, чем сирена, которую он вызвал из глубины пропасти. Где же найдете на земле восторг, равный тому, который охватывает гения, когда, из темной глубины, он выходит наконец на свет в полной славе!

Пизани не произнес ни одного слова, не сделал ни одного жеста. Прикованный к стулу, еле дыша, он сидел неподвижно, с орошенным слезами лицом; только изредка его рука машинально искала скрипку. Отчего ее не было здесь, чтобы разделить с ним его торжество?

Наконец занавес опустился, и его падение вызвало бурю рукоплесканий; все вдруг поднялись, все в один голос произносили любимое имя.

Виола вышла, дрожащая, бледная, и из всей толпы видела только лицо своего отца. Публика видела этот взгляд, полный слез, и поняла восторг девушки. Раздались оглушительные крики одобрения композитору. Добрый кардинал заставил его подняться.

– Артист фантастических аккордов! Твоя дочь дала тебе больше, чем жизнь, которую ты дал ей!

– Моя бедная скрипка, – проговорил он, вытирая глаза, – они не освищут тебя больше!

III

Несмотря на торжество певицы и оперы, в первом действии, и, следовательно, до приезда Пизани, одно время успех казался более чем сомнительным. Это было во время хора, наполненного эксцентричностью. Когда буря фантазий закружилась, оглушая самыми бессвязными звуками, публика вдруг узнала руку Пизани. Опере дали название, которое до тех пор устранило всякое подозрение о ее композиторе. Увертюра и введение, гармонического и верного стиля, сбили публику до такой степени, что она подумала, что слышит произведение своего дорогого Паизьелло. Привыкшая с давних пор смеяться и почти презирать претензии Пизани

как композитора, она заметила, что у ней обманом похитили аплодисменты, которыми она встретила увертюру и первые сцены.

Ропот самого дурного предзнаменования послышался в зале. Актеры и оркестр, мгновенно понимающие реакцию публики, были взволнованы, смущены и потеряли в критическую минуту ту энергию, которая одна могла спасти странную музыку. В каждом театре нет недостатка в соперниках автора и нового актера; враги бессильны, пока все идет хорошо, но становятся опасны с той минуты, как малейший случай становится на пути успеха.

Послышался свист, одинокий, правда, но отсутствие заглушающих его аплодисментов, казалось, предвещало, что приближается минута, когда осуждение станет общим.

В эту критическую минуту Виола, королева сирен, вышла в первый раз из своего морского грота. В ту минуту, как она вышла на авансцену, ее встретило ледяное равнодушие публики, которое не рассеялось даже с появлением особенной красоты; неблагоприятный ропот других актеров, ослепительный блеск света и в тысячу раз более, чем все остальное, этот недавний свист, который дошел до нее, – все это парализовало и подавило ее, и вместо величественной королевы-сирены она превратилась в дрожащего ребенка и застыла, бледная и немая, перед тысячами глаз, холодные и строгие взгляды которых остановились на ней. В ту минуту, когда уже сознание ее таланта, казалось, изменило ей, и когда застенчивым взглядом она умоляла неподвижную толпу, она заметила в одной ложе подле сцены лицо, которое разом и как бы чудом произвело на ее душу действие, которое невозможно анализировать, но которое также нельзя забыть. Это лицо пробудило в ней смутное воспоминание, беспрестанно преследовавшее ее, как будто она его уже видела в одном из тех снов, которым любила предаваться с самого детства. Она не могла оторвать своих глаз от этих черт лица, и, по мере того как она вглядывалась в него, ледяной страх, охвативший ее сперва, рассеялся, как туман перед солнцем. В глубоком блеске этих глаз, которые встретились с ее глазами, было действительно столько ободрения, столько ласкового и сострадательного удивления, столько вещей, которые советовали, оживляли и укрепляли ее, что всякий человек, актер или оратор, который когда-нибудь почувствовал в присутствии огромной толпы действие одного внимательного и дружелюбного взгляда, поймет внезапное влияние, которое произвели на дебютантку взгляд и улыбка иностранца. Она все еще смотрела, и ее сердце согревалось, когда иностранец наполовину поднялся, как бы для того, чтобы напомнить публике чувства вежливости, которые она должна была оказать молодой и прекрасной артистке; и как только прозвучал его голос, вся зала ответила на него великодушным взрывом «браво», так как незнакомец сам был замечательной личностью и его недавний приезд в Неаполь занимал публику в той же мере, как и новая опера. Потом, когда аплодисменты стихли, полился прелестный голос сирены, чистый, полный и звучный.

С этой минуты Виола позабыла все: толпу, успех, целый мир, за исключением того фантастического мира, которого она была царицей. Присутствие незнакомца, казалось, довершало эту иллюзию, которая похищает у артиста сознание действительности. Она чувствовала, что этот чистый, спокойный лоб, эти блестящие глаза внушали ей силу, до тех пор неизвестную; и ей казалось, что его присутствие вдохновляло ее на такое мелодичное пение.

Когда все было кончено, когда она заметила своего отца и поняла его радость, тогда только странное восхищение дало место более нежному очарованию дочерней любви. Прежде чем уйти за кулисы, она невольно бросила взгляд на ложу незнакомца; его спокойная и почти меланхолическая улыбка глубоко проникла ей в душу, чтобы жить в ней.

Но перейдем к поздравлениям кардинала – виртуоза, чрезвычайно изумленного открытием, что он и весь Неаполь с ним до тех пор ошибались относительно Пизани.

Перейдем к восторгу толпы, осаждавшему слух певицы, когда, надев скромную шляпу и свое девическое платье, она проходила между толпами поклонников, занимавших все проходы.

Как нежен был поцелуй отца и дочери, возвращавшихся снова по безлюдным улицам в карете кардинала.

Не будем останавливаться на воспоминаниях о слезах и восклицаниях доброй и простой матери...

Вот они вернулись; вот хорошо знакомая комната. Посмотрите на старую Жионетту, заснувшую, готовя ужин, и послушайте Пизани, который пробуждает заснувшую скрипку, чтобы поведать о великом событии своему неразлучному другу. Послушайте этот смех матери, английский смех, полный веселости.

Какое счастливое собрание вокруг скромного стола! Это был праздник, которому бы позавидовал сам Лукулл в своей зале Аполлона; этот сухой виноград, аппетитные сардинки, каша из каштановой муки и эта старая бутылка *Lacrima-Christi* – подарок доброго кардинала.

Скрипка была поставлена на кресло подле музыканта и, казалось, принимала участие в веселом банкете. Она блестела при свете лампы, и в ее молчании была скромная важность таинственного человека, каждый раз как ее хозяин поворачивался к ней, чтобы сообщить какую-нибудь забытую подробность.

Жена Пизани с любовью смотрела на эту сцену; счастье отняло у нее аппетит; вдруг она встала и надела на шею артиста гирлянду цветов, которую приготовила заранее, убежденная в успехе, а «Виола, сидевшая с другой стороны своей сестры, скрипки, нежно надела на голову своего отца лавровый венок и ласково обратилась к нему.

– Не правда ли, вы больше не позволите скрипке бранить меня? – сказала она.

Бедный Пизани, взволнованный двойной лаской, оживленный успехом, повернулся к младшей из своих дочерей – к Виоле, с наивной гордостью:

– Не знаю, которую из вас двоих должен я благодарить больше, вы мне столько даете работы. Дочь моя, я так горжусь тобой и самим собой! Но увы, бедный друг! Мы были так часто несчастны вместе!

Сон Виолы был беспокойный, но это естественно. Чувство гордости и торжества, счастье, которое оно причинило, – все это было похоже на сон.

А между тем ее мысль часто отрывалась от всех этих впечатлений, чтобы вернуться к тому взгляду и улыбке, которые еще стояли перед ней, и к которым воспоминание этого торжества и счастья должно было навсегда присоединиться. Ее впечатления, как и характер, были странны и особенны. Это не было то, что испытывает молодая девушка, сердце которой, пронзенное в первый раз мужским взглядом, вспыхивает первой любовью. Это не был именно восторг, хотя лицо, которое отражалось в каждой волне ее неисчерпаемой и подвижной фантазии, было редкой и величественной красоты. Это не было и простым воспоминанием, полным прелести, вызванным видом незнакомца; это было человеческое чувство благодарности и счастья, смешанного не знаю с каким таинственным элементом страха и благоговения. Конечно, она уже видела эти черты лица; но когда и как? Ее мысль старалась начертать свою будущую судьбу, и, несмотря на все ее усилия удалить это видение цветов и блеска, темное предчувствие заставляло ее углубляться в себя.

И она нашла эту тайну, но не так, как молодость открывает существо, которое она должна любить, а, скорее, как ученый, который после долгих бесплодных попыток схватить разгадку какой-нибудь научной проблемы видит истину, светящуюся издали темным и еще мерцающим светом. Она впала наконец в томительную дремоту, населенную непонятными образами.

Проснувшись она в ту минуту, когда солнце, после туманной ночи, пустило в окна болезненные лучи; ее отец уж принимался за свое единственное занятие, и она услышала, как скрипка испустила тяжелый, подавляющий аккорд, походивший на зловещее пение смерти.

– Отчего, – спросила она, входя к нему в комнату, – отец, ваше вдохновение так печально после вчерашней радости?

– Не знаю, дитя, я хотел быть веселым и сочинить арию на твоё счастье, но инструмент так упрям, что мне пришлось последовать его желанию.

IV

Пизани имел обыкновение, за исключением тех случаев, когда обязанности его профессии занимали его время особым образом, посвящать полдень сну привычка, которую для человека, мало спавшего по ночам, можно было бы считать скорее за необходимость, чем за излишество.

По правде сказать, часы середины дня были именно такими, в которые Пизани не мог бы работать, если бы даже и захотел. Его гений походил на такой фонтан, который всегда бьет при наступлении и закате дня и который особенно активен ночью, но в полдень совершенно сух. В течение этих часов, посвященных ему мужем сну, синьора обыкновенно выходила для закупки необходимых продуктов или развлекалась разговором с какой-нибудь соседкой. А сколько поздравлений нужно ей было получить на другой день после этого блестящего триумфа! Это был час, когда Виола также выходила и садилась у порога, не загораживая дороги, и теперь вы могли ее видеть там державшей на коленях партитуру, которую ее рассеянный взгляд просматривал время от времени, за ней и над ее головой виноградная лоза распустила свои капризные листья, а перед ней, на горизонте, сияло море с белым неподвижным парусом, который замер на волнах.

Пока она сидела так, погруженная в свои мечты, скорее чем в мысли, какой-то мужчина прошел медленными шагами и с опущенной головой совсем подле дома. Виола внезапно подняла глаза и вздрогнула в ужасе, узнав незнакомца. У нее вырвалось невольное восклицание.

Молодой человек обернулся и, заметив ее, остановился.

В продолжение нескольких минут он стоял между ней и блестящим видом залива, любясь робким и прелестным видом молодой девушки полной серьезной скромности. Наконец он заговорил.

– Вы счастливы, мое дитя, – сказал он почти отеческим голосом, – карьерой, которая открывается перед вами? Между шестнадцатью годами и тридцатью в аплодисментах слышится более нежная музыка, чем та, которую творит ваш голос.

– Не знаю, – прошептала Виола сперва робко. Но в голосе, говорившем ей, было столько нежности и ласки, что она продолжала с большей смелостью:

– Не знаю, счастлива ли я теперь; вчера я была счастлива. И я чувствую, ваше сиятельство, что я должна вас благодарить, хотя, возможно, вы и не знаете, за что.

– Вы ошибаетесь, – сказал молодой человек, улыбаясь. – Я знаю, что способствовал вашему заслуженному успеху, но вы почти не знаете как. Вот вам объяснение: я видел в вашем сердце честолюбие более благородное, чем женское тщеславие, я обратил внимание на дочь. Но вам, может быть, хотелось, чтобы я просто любовался артисткой?

– Нет! О нет!

– Хорошо, я вам верю. А теперь, так как мы встретились, я дам вам совет. При вашем первом появлении в театре у ваших ног будет вся золотая молодежь Неаполя. Бедное дитя! Пламя, ослепляющее глаза, может сжечь и крылья. Помните, что единственное почтение, которое не оскверняет, – это то, которого не может предложить глупая толпа обожателей. Какие бы ни были ваши мечты о будущем – а я вижу, какие они у вас необузданные, – пусть осуществятся только те, которые имеют своей целью семейный, домашний очаг!

Он замолчал. Сердце Виолы сильно билось. Потом, едва понимая силу его советов, она воскликнула со взрывом естественного и невинного волнения:

– Ах, ваше сиятельство, вы не знаете, как мне уже дорог этот домашний очаг. А мой отец!.. Без него, синьор, этот очаг не существовал бы!

Темная тучка пробежала по лицу молодого человека. Он посмотрел на мирный дом, почти погруженный в зелень виноградных кустов, потом перевел свой взгляд на оживленное лицо девушки.

– Хорошо, – сказал он. – Простое сердце часто служит себе лучшим проводником. Мужайтесь и будьте счастливы. Прощайте, прекрасная певица!

– Прощайте, ваше сиятельство... Но... – Что-то непреодолимое беспокойное чувство страха и надежды – вырвало у нее этот вопрос: – Но я вас увижу в Сан-Карло, не правда ли?

– Спустя некоторое время по крайней мере. Я уезжаю из Неаполя сегодня.

– В самом деле?..

И Виола почувствовала, как у нее сжалось сердце: поэзия сцены исчезла.

– И может быть, – проговорил молодой человек, обернувшись и ласково положив свою руку на руку Виолы, – прежде чем мы снова увидимся, вам придется страдать, узнать первые и жестокие испытания жизни, понять: то, что дает слава, бессильно вознаградить за то, что теряет сердце. Но будьте тверды и не уступайте даже тому, что может казаться набожностью и страданием. Посмотрите в сад соседа, на это дерево... Посмотрите, как оно выросло, изуродованное и кривое. Ветер занес семя, из которого оно выросло в расселине скалы; зажатая камнями и строениями, природой и человеком, его жизнь была постоянной борьбой, чтобы видеть свет. Свет, необходимый элемент жизни. Посмотрите, как оно гнулось и корчилось; как, встретив препятствие в одном месте, оно росло и пробивалось в другом, чтоб выйти наконец на свет Божий... Каким образом сохранилось оно, несмотря на все эти невыгодные условия рождения и роста? Отчего его листья так же зелены и свежи, как листья этого виноградника, который широко раскинул свои ветви навстречу солнцу? Дитя мое, они свежи благодаря инстинкту, который заставлял его бороться, благодаря этой борьбе за свет, в которой победил сам свет. Итак, с неустрашимым сердцем, несмотря на все страдания и удары судьбы, стремиться к солнцу всеми силами – вот что дает сильнейшим знание, а слабым – счастье. Прежде чем мы еще встретимся, ваш печальный взгляд не раз остановится на этом дереве; и когда вы услышите пение птиц, когда вы увидите луч солнца, играющий на его листьях, вспомните тогда урок, данный вам природою, и сквозь туман проложите себе дорогу к свету.

Сказав это, он медленно удалился, и Виола осталась одна, удивленная и опечаленная этим темным предсказанием будущего несчастья и между тем, несмотря на печаль, очарованная. Невольно она проследила его глазами; мысленно протянула руки, как бы для того, чтоб вернуть его. Она отдала бы целый свет, чтобы его еще раз увидеть, чтобы услышать один только раз его спокойный серебристый голос, чтоб почувствовать еще эту руку, касающуюся ее руки. Так луч луны придает очарование всем темным углам, на которые он падает, такую было воздействие иностранца. Луч исчезает, и все принимает снова темный, прозаический вид; так и он исчез, и внешний мир лишился своего очарования...

Незнакомец шел по прекрасной длинной дороге, которая примыкала к дворцу напротив городских садов и вела в кварталы, где расположены увеселительные заведения.

Толпа молодых людей стояла при входе в игорный дом, посещаемый самыми богатыми и знатными игроками. Все дали ему дорогу, когда он прошел между ними.

– Смотрите! – проговорил один. – Это не тот ли богатый Занони, про которого так много говорят?

– Да. Говорят, его состояние несчетно.

– Говорят!.. Кто говорит? На каком основании? Он в Неаполе только несколько дней, и до сих пор никто не мог сказать мне что-либо о его родине, семье или, что всего важнее, его состоянии.

– Это правда; но он приплыл на отличном корабле, который принадлежит ему. Вы не можете его видеть в настоящую минуту; он стоит в заливе. Его банкиры говорят с уважением о суммах, которые он вкладывает в банки.

– Откуда он?

– Не знаю, из какого-то восточного порта. Мой лакей узнал от матросов, что он долго жил в Индии.

– И я позволю сказать себе, что в Индии собирают золото, как камни, и что есть долины, где птицы строят свои гнезда из изумрудов, чтоб привлекать бабочек. Вот, кстати, идет князь игроков, Цетокса. Держу пари, что он уж познакомился с таким богачом. У него к золоту такое же влечение, как у магнита к железу. Ну, Цетокса, какие самые свежие новости о червонцах синьора Занони?

– О! – воскликнул небрежно Цетокса. – Мой друг...

– А-а! Слышите – его друг!

– Да, мой друг Занони проведет некоторое время в Риме; он обещал мне по своем возвращении ужинать со мной, и тогда я представлю его вам и лучшему обществу Неаполя. Черт возьми, знаете, этот синьор один из самых умных и самых приятных!

– Расскажите же нам, каким образом вы так скоро сошлись с ним?

– Ничего нет проще, мой дорогой Бельджиозо. Ему хотелось иметь ложу в Сан-Карло. Нечего вам говорить, что ожидание новой оперы (что за прелестное произведение! этот бедный Пизани! кто бы мог подумать?) и новой певицы (что за красота! что за голос!) передалось и нашему гостю. Я узнал, что Занони желает оказать честь неаполитанскому таланту, и с той любезностью к знатым иностранцам, которая меня характеризует, я отдал свою ложу в его распоряжение. Он ее принял, я представился ему между двумя действиями: он был очарователен и пригласил меня ужинать. Мы долго сидели, я сообщил ему все новости Неаполя, мы делаемся сердечными друзьями, он заставил меня, раньше чем я ушел, принять этот бриллиант, безделицу, как он выразился; ювелиры оценивают его в пять тысяч пистолей! Самый восхитительный вечер, какой я провел когда-либо за десять лет!

Молодые люди окружили его, чтоб полюбоваться бриллиантом.

– Граф Цетокса, – проговорила важная и угрюмая личность, несколько раз крестившаяся в продолжение рассказа неаполитанца, – разве вам неизвестны таинственные слухи, ходящие по поводу этого иностранца, и разве вы можете без страха принимать от него подарок, могущий иметь самые роковые последствия? Разве вы не знаете, что говорят, будто он маг и у него дурной глаз, будто...

– Ради Бога, избавьте нас от ваших старых суеверий, – презрительно отвечал Цетокса. – Они вышли из моды; теперь в моде только скептицизм и философия. И чего стоят все эти слухи, на чем они основаны? Вот вам пример: какой-то старый дурак, восьмидесяти шести лет, чистый пустомеля, торжественно уверяет, что он видел этого самого Занони в Милане семьдесят лет тому назад, в то время как он сам, почтенный свидетель, был только ребенком! А этот Занони, как вы сами видели, по крайней мере так же молод, как вы и я, Бельджиозо.

– Но, – возразил серьезный господин, – в этом-то и есть тайна. Старый Авелли уверяет, что Занони ни на один день не кажется старше того, каким он видел его в Милане. Он прибавляет, что даже в Милане, заметьте это, где, под другим именем, Занони явился с тою же роскошью, с тою же таинственностью, один старик вспомнил, что видел его шестьдесят лет тому назад в Швеции.

– Ба! – воскликнул Цетокса. – То же самое говорят о шарлатане Калиостро; чистые басни. Я поверю им, когда увижу этот бриллиант превратившимся в пучок сена. Впрочем, – прибавил он серьезно, – я считаю этого знаменитого мужа своим другом, и малейшее слово, задевающее его честь или его репутацию, я воспринимаю как личное оскорбление.

Цетокса был опасным бойцом и фехтовальщиком.

Важный господин, несмотря на все участие, которое он проявил к душевному состоянию графа, выказал при этом его заявлении не менее глубокую заботу о своей собственной

безопасности: он удовольствовался тем, что бросил на него сострадательный взгляд, вышел в дверь и направился к игровой комнате.

– А-а! – воскликнул со смехом Цетокса. – Этот Лоредано завидует моему бриллианту. Господа! Вы ужинаете со мной сегодня вечером. Клянусь вам, что никогда я не встречал товарища более прелестного, веселого, занимательного, как мой дорогой друг синьор Занони!

V

А теперь, в обществе этого таинственного Занони, я прощаюсь с Неаполем на некоторое время. Садитесь со мной, читатель, на гиппогрифа и устраивайтесь, как вам понравится. Я купил седло у поэта, любившего комфорт. Посмотрите, вот мы уж и поднимаемся. Смотрите вниз, пока мы летим; не бойтесь ничего, дорогой читатель, гиппогрифы никогда не спотыкаются: все гиппогрифы Италии очень удобны как средство передвижения для людей почтенных лет! Опустите ваши взоры на пейзажи, которые виднеются под нами! Привет вам, плодородные долины, и вам, славные виноградники старой Фалерны! Посмотрите на эту землю, могилу Рима, природа еще сеет здесь цветы. Посреди этих античных руин возвышается средневековое строение – приют странного отшельника. Обычно во время малярии крестьяне бегут от миазмов местной флоры, но он, неизвестный иностранец, безопасно дышит этим ядовитым воздухом. У него нет ни друзей, ни товарищей, если не считать его книги и научные инструменты. Его часто видят бродящим по холмам или по улицам нового города, не с равнодушным или рассеянным выражением лица, которое характеризует ученых, а с наблюдательным и проницательным взором, который проникает, по-видимому, в сердца прохожих. Старый, но не дряхлый, прямой, с величественной осанкой, как если бы он еще был молод, проходит он мимо горожан. Никто не знает, богат он или беден. Он не просит милостыни и не дает ее; он не делает зла, но и никакого добра. Это человек, который, как кажется, не имеет другого света, кроме своего собственного, но наружный вид обманчив, и во вселенной наука, как и доброта, может находиться всюду. И в это жилище, в первый раз с тех пор, как там поселился отшельник, входит посетитель: это Занони.

Посмотрите на них, сидящих один против другого и разговаривающих. Много лет прошло после их последнего свидания, по крайней мере с тех пор, как в последний раз они видели друг друга лицом к лицу. Но если это два мудреца, мысль может встретить мысль, ум соединиться с умом, если даже между телами будет находиться пропасть. Смерть и та не разлучает мудрецов. Вы встречаете Платона каждый раз, как ваш глаз останавливается на странице «Федона». Дай Бог, чтобы Гомер всегда жил среди нас.

Они беседуют вместе, они обмениваются признаниями; они вызывают, они вспоминают прошлое, но какие различные ощущения пробуждаются в обоих с этими воспоминаниями!

На лице Занони, несмотря на все его обычное спокойствие, было видно волнение. Он участвовал в прошлом, которое рассматривает; но на хладнокровном лице его товарища нельзя было заметить черты, которая бы говорила о радости и страдании; для него прошлое, как теперь и настоящее, было тем, чем природа является мудрецу, книга – ученому: спокойная и умная жизнь, наука, созерцание. От прошлого они переходят к будущему. Будущее! В конце прошедшего столетия они думали коснуться его и узнать, так сказать, его очертания сквозь опасения и надежды настоящего. Перед концом XVIII столетия этот старик, стоя у одра смерти старого века, смотрел на новое светило, красное и кровавое посреди туч и тумана, не ведая, была ли то комета или солнце.

Посмотрите на ледяное и глубокое презрение на лбу старика и эту гордую и между тем трогательную грусть, которая омрачает благородное лицо Занони. Кажется, что борьба и ее исход были предметом презрения для одного, ужаса и жалости для другого. Мудрость, рас-

смаатривая человечество, доходит до сострадания или презрения. Когда верят в существование других миров, то охотно привыкают смотреть на этот, как натуралист на суету муравейника.

Что такое земля в сравнении с бесконечностью? Насколько душа одного человека имеет больше значения, чем история целой планеты? Дитя неба, наследник бессмертия! С каким чувством кинешь ты однажды свой взгляд с какой-нибудь звезды на этот муравейник и на катастрофы, которые потрясали его от Хлодвигу до Робеспьера, от Ноя, который спас землю, до огня, который должен истребить ее в последний день! Душа, умеющая рассматривать, живущая только познанием, может уже подняться до этой звезды с середины кладбища, называемого землей, пока она еще живет на ней.

Но ты, Занони, ты отказался жить одним разумом; ты не умертвил своего сердца, оно дрожит еще при трепещущей гармонии страсти; род человеческий, которого ты составляешь часть, есть для тебя что-то более, чем холодное развлечение.

VI

Однажды вечером в Париже, пять месяцев спустя после событий, рассказанных в нашей последней главе, несколько лучших умов того времени собрались у одной личности, одинаково знаменитой своим происхождением и своим талантом.

Почти все члены собрания разделяли мнения, которые были тогда в моде. Точно так же, как позже наступило время, когда ничто не было так нелюбимо народом, как сам народ, так же было время, когда считалось, что нет ничего хуже дворянства. Самый превосходный джентльмен, самый надменный дворянин говорил о равенстве, об успехах просвещения.

Между самыми замечательными гостями там был Кондорсе, находившийся тогда в зените своей славы, переписывавшийся с королем Пруссии, близкий друг Вольтера, член половины академий Европы, благородный по происхождению, изящный по манерам, республиканец по убеждениям.

Здесь находился также почтенный Мальзерб, «любовь и отрада нации», как говорит его биограф Гальяр, и подле него Жан-Сильвен Байи, знаменитый ученый, горячий политик.

Это был один из тех маленьких ужинов, которыми славилась столица роскошных удовольствий.

Разговор, как догадывается читатель, был литературный и философский, оживленный веселостью, исполненный грации. Много женщин этого древнего и гордого сословия (дворянство существовало еще, хотя его часы были сочтены) придавали очарование собравшемуся обществу, и они-то и были самые смелые критики и часто проповедовали самые либеральные идеи.

Для меня было бы напрасным усилием, т. е. напрасным усилием передать на английском языке, блестящие парадоксы, переходившие из уст в уста. Любимой темой было превосходство писателей новых времен над писателями древних. Кондорсе был на эту тему красноречив и, в глазах по крайней мере части своих слушателей, убедителен. Превосходство Вольтера над Гомером было неоспоримо для всех. Какие потоки колких острот лились по поводу тупого педантизма, который провозглашает, что все, что старо, непременно величественно!

– Да, – сказал блестящий маркиз N, держа в руке бокал с шампанским, ум действует, Кондорсе, как вода – он установит свой уровень. Мой цирюльник говорил мне сегодня утром: «Я только простой бедняк; а между тем это не мешает мне думать и верить более, чем знатные господа!» Революция очевидно приближается к развязке шагами гиганта, как говорил Монтескье в своем бессмертном произведении.

Потом все слились в хор, восславляющий блестящие чудеса, которые должна была произвести большая революция. Кондорсе был красноречивее, чем когда-либо.

– Необходимо, чтобы суеверие и фанатизм уступили бы место философии. И тогда, – говорил он, – тогда начнется эра справедливости и равенства. Большие неудобства для успеха наук происходят от отсутствия всемирного языка и от быстротечности человеческого существования. Что касается первого, то, когда все люди будут братьями, отчего бы не существовать общему языку? Что касается второго, то известно, что органический мир может быть усовершенствован. Разве природа будет менее милостива в отношении к более благородному мыслящему существу, человеку? Устранение самых сильных причин физической немощи, богатства со своей роскошью и бедности с ужасной нищетой – должно непременно продлить средний срок жизни. Искусство лечения будет тогда почитаемо вместо войны; самые благородные усилия в познании будут способствовать открытию и истреблению причин болезней.

Конечно, жизнь нельзя сделать вечной, но ее можно бесконечно продлить. Самое низкое творение передает силу своему детищу; так и человек передает своим детям физическую организацию и заветы духовного совершенствования. Вот цель, которую наш век приведет в исполнение!

Почтенный Мальзерб вздохнул. Может быть, он боялся, что цель не будет достигнута при его жизни. Прекрасный маркиз N и еще более прекрасные женщины казались убежденными и восхищенными. Но между ними были двое людей, сидевших рядом и не принимавших участия в разговоре: один – иностранец, недавно приехавший в Париж, где его богатство, наружность и ум заставили высший свет его заметить и заискивать перед ним; другой, старик около семидесяти лет, умный, добродетельный, храбрый, беззаботный автор «Влюбленного дьявола» Казот. Эти двое присутствующих доверительно беседовали и только изредка улыбкой выказывали свое внимание к общему разговору.

– Да, – сказал иностранец, – мы уже встречались.

– Я как будто не забыл ваши черты, а между тем я напрасно силюсь вспомнить.

– Я вам помогу. Помните то время, когда из любопытства или, может быть, из более благородной жажды познания вы старались попасть в таинственный орден Мартиника де Паскалиса⁵?

– Возможно ли это? Вы член этого теургического братства?

– Нисколько, я присутствовал при их церемониях, но только для того, чтобы показать им, какими невозможными методами они старались обновить старинные чудеса кабалистики.

– Вы любите эти науки? Что касается меня, я отверг влияние, которое они имели прежде на мое воображение.

– Вы его вовсе не стряхнули, – возразил незнакомец, – оно еще владеет вами и в настоящую минуту; оно бьется в вашем сердце, оно озаряет ваш ум; оно хочет говорить вашими устами.

Потом иностранец продолжал разговор вполголоса; он напомнил ему некоторые правила, обряды, объяснил, каким образом они связаны с жизнью самого Казота, удивленного, что незнакомец так хорошо знает подробности его существования. Лицо старика, от природы открытое и благородное, мало-помалу омрачилось, и он бросал изредка на своего товарища быстрые, сверкающие и беспокойные взгляды.

⁵ Это намерение приписывают Казоту. О Мартинике де Паскалисе знают очень мало, даже его близкие имеют только смутные предположения. Обряды, церемонии и характер кабалистического ордена, основанного им, также неизвестны. Сен-Мартен был последователь его школы. Несмотря на свой мистицизм, Сен-Мартен был человеком последнего столетия самым добрым, самым великодушным, самым добродетельным и самым чистым. Никто не отличался более его от простой толпы скептиков своим неутомимым жаром победить материализм и требованием необходимости веры среди хаоса неверия. Стоит также заметить, что, несмотря на сведения, которые Казот мог собрать о школе Мартиника, он ничего не узнал такого, что бы бросило тень на заслуги его жизни и искренность его религии. Кроткий и храбрый в то же время, он никогда не переставал противиться злоупотреблениям революции. Во всем отличавшийся от либералов того времени, он был набожным и искренним христианином. Раньше чем погибнуть на эшафоте, он спросил перо и бумагу, чтобы написать следующие слова: «Жена и дети мои, не оплакивайте меня, не забудьте меня, но помните, никогда не оскорбляйте Господа Бога». (Прим. автора.).

Прелестная герцогиня де... обратила на них наконец внимание как на не принимавших участия в общем разговоре, а Кондорсе, не любивший, чтобы в его присутствии кто-либо другой, кроме него, привлекал внимание, обратился к Казоту:

– Ну, а вы, какие ваши предсказания по поводу революции? Какое влияние она будет иметь по крайней мере на нас?

При этом вопросе Казот вздрогнул, побледнел, и на лбу у него выступил холодный пот; его губы задрожали.

Все присутствующие посмотрели на него с удивлением.

– Говорите! – сказал ему вполголоса иностранец, положив свою руку на руку старика.

При этих словах лицо Казота содрогнулось, его неподвижные глаза вперились в пустое пространство, и глухим голосом он отвечал⁶:

– Вы спрашиваете, какое действие она будет иметь на вас – на вас, ее просвещенных, вовсе не корыстолюбивых сторонников? Я вам сейчас отвечу. Вы, маркиз де Кондорсе, вы умрете в тюрьме, но не от руки палача. В тихом счастье этой эпохи философ будет заботиться носить при себе не эликсир, а яд.

– Мой бедный Казот, – проговорил Кондорсе со своей ласковой и проницательной улыбкой. – Темница, я, палачи... Что общего это может иметь с философией, с царством разума?..

– Об этом-то я и говорю. Все это случится с вами именно в царстве разума и во имя философии, человечности и свободы.

– Вы думаете о священниках и об их интригах, а не о философии, – сказал Шамфор. – А что предсказываете вы мне?

– Вы вскрыете себе вены, чтобы избежать братства Каина. Но можете утешиться: последние капли вашей крови вытекут из вас только через несколько месяцев... Для вас, почтенный Мальзерб, для вас, Эмар де Никола, и для вас, Байи, я вижу строящиеся эшафоты. И даже тогда, о великие философы, у ваших убийц на языке не будет других слов, как слова философии.

Наступило общее глубокое молчание, когда ученик Вольтера, вспыльчивый Лагарп, воскликнул с язвительным смехом:

– О пророк! Не избавляйте меня, из лести, судьбы этих господ. Разве у меня не будет роли в этой драме ваших зловещих фантазий?

При этом вопросе с лица Казота исчезло неестественное выражение пророческого ужаса; ирония, которая обыкновенно выражалась на нем, вернулась и сверкнула в его блестящих глазах.

– Да, Лагарп, и ваша роль будет самой чудесной из всех. Вы станете тогда верующим христианином.

Это было уже слишком для общества, до тех пор серьезного. Все разразилось громким смехом, а Казот, как бы уставший от всех своих предсказаний, откинулся на спинку кресла, тяжело дыша.

– Теперь, – проговорила мадам де..., – после того как вы произнесли столько важных предсказаний на наш счет, скажите же нам, что ожидает вас.

Конвульсивная дрожь пробежала по телу невольного пророка, но он в ту же минуту успокоился, и его лицо озарилось выражением спокойной покорности.

– Мадам, – отвечал он после долгого молчания, – во время осады Иерусалима один человек, свидетельствует историк⁷, в продолжение семи дней подряд обходил ограду, крича: «Горе тебе, Иерусалим! Горе мне самому!»

– Ну, так что же?

⁶ Пророчество, которое я помещаю и которое иные читатели, без сомнения, знают, содержится с некоторыми легкими изменениями – в предсмертных произведениях Лагарпа. Оригинальный манускрипт его существует еще, как говорят, и подробности рассказаны со слов г. Петито. Не мне проверять точность фактов. (Прим. автора.).

⁷ Имеется в виду Иосиф Флавий (37-100 н. э.), автор «Истории иудейской войны».

– На седьмой день, когда он возгласил таким образом, камень, пущенный катапультой римлян, настиг его и убил наповал.

При этих словах Казот встал и вышел, а гости, охваченные против своей воли ужасом, расстались вскоре после его ухода.

VII

Было около полуночи, когда иностранец дошел до своего дома, находившегося в одном из тех обширных кварталов, которые можно назвать маленьким Парижем. Подвалы его были заняты бедными ремесленниками, часто ссыльными или бродягами, избегавшими полиции, а то каким-нибудь дерзким писателем, который, посеяв самые разрушительные идеи, напечатав самые ядовитые пасквилы против духовенства, министров или короля, искал здесь убежища от гонений. Нижний этаж состоял из лавок, антресоль населена была артистами, главные этажи – дворянством, а чердак – ремесленниками или гризетками.

В ту минуту, как иностранец взбирался по лестнице, молодой человек, лицо и вид которого говорили не в его пользу, вышел через дверь антресоли и быстро прошмыгнул перед ним. Его взгляд был какой-то скрытный, зловещий, свирепый и в то же время боязливый. Его лицо было чрезвычайно бледно и конвульсивно вздрагивало. Иностранец остановился и стал внимательно следить за уходившим молодым человеком. Пока он неподвижно стоял таким образом, в комнате рядом послышался стон; дверь закрыли быстро и поспешно, но легкое препятствие, может быть щелка, помешало ей совсем закрыться. Незнакомец толкнул ее и оказался в комнате. Он прошел через маленькую переднюю, бедно меблированную, и очутился в спальне. На постели, корчась от боли, лежал старик. Слабый свет освещал комнату и бросал отблески на сморщенное и мертвенное лицо больного. Подле него никого не было; казалось, его оставили так, чтоб он испустил в уединении свой последний вздох.

– Воды, – проговорил он со слабым стоном, – воды! Жажда мучит меня... я горю.

Незнакомец подошел к постели, нагнулся к умирающему и взял его за руку.

– Будь благословен, Жан! Будь благословен! – произнес больной. – Ты уже привел доктора? Я беден, сударь, но я вам хорошо заплачу. Я бы не хотел еще умирать из-за этого молодого человека. – Он приподнялся на своей постели и с ужасом устремил на незнакомца свои потухшие глаза.

– Что вы чувствуете, что у вас болит?

– Огонь! Огонь в сердце и во внутренностях. Я горю!

– Сколько времени вы не ели?

– Ел! Я поел только этого бульону, уже шесть часов тому назад; чашка стоит еще там. Не успел я его выпить, как начались боли.

Иностранец осмотрел чашку, в которой было еще немного бульону.

– Кто дал вам этого бульона?

– Кто? Жан. Кто же другой может дать мне его? У меня нет прислуги, никого нет. Я беден, сударь, очень беден. Но нет; вы, доктора, вы не заботитесь о бедных. Я богат! Можете вы меня вылечить?

– Да, с Божьею помощью. Будьте только терпеливы.

Старик быстро угасал от действия одного из самых сильных ядов. Незнакомец отправился в свою квартиру и вернулся через несколько минут с противоядием, которое произвело в одну минуту свое действие. Страдания уменьшились, губы потеряли синевато-белый цвет, и старик погрузился в глубокий сон. Иностранец спустил занавески постели, схватил свечу и стал осматривать комнату. Стены были украшены, как и в соседней комнате, великолепно исполненными рисунками; но большая часть этих произведений ужасала взоры и возмущала вкус: здесь было изображено человеческое тело в разных положениях во время пытки; застенков,

колесо, виселица – все, что жестокость придумала для того, чтоб сделать смерть более ужасной, выглядели еще более страшными благодаря любви, которую чувствовал художник к своему произведению. В одном углу комнаты, недалеко от старого письменного стола, был брошен маленький сверток, небрежно прикрытый пальто, которое, казалось, должно было скрывать его. Несколько полок, составлявших библиотеку, были уставлены книгами. Это были почти исключительно произведения философов того времени, философов-материалистов и энциклопедистов.

Одна книга лежала на столе открытой. Это было произведение Вольтера, поля были испещрены карандашными заметками, писанными дрожащей рукой, как бы старческим почерком. Это были иронические опровержения логики фернейского мудреца. Вольтер был слишком сдержанным, по мнению своего толкователя.

Пробило два часа; на лестнице послышались шаги. Незнакомец тихонько сел с другой стороны постели, занавески которой скрывали его от человека, вошедшего с большой таинственностью. Это был тот же юноша, которого он видел на лестнице. Он взял свечку и подошел к постели осторожными шагами.

Лицо больного было повернуто к подушке, но он спал так спокойно, его дыхание было так тихо, что убийца, бросив на него быстрый и беспокойный взгляд, принял этот сон за смерть. Он отошел с адской улыбкой, поставил свечу на место, открыл письменный стол ключом, вынутым из кармана, и взял из ящика несколько свертков золота. В ту же минуту старик проснулся. Он открыл глаза и повернул их к свету; тогда он увидел вора за делом и вытянулся на постели, как пораженный скорей удивлением, чем ужасом. Наконец он соскочил с постели:

– Пречистое небо! Не сон ли это? Ты, ты! Ты, для которого я страдал и переносил нищету и труд! Ты!

Вор задрожал; монеты выпали у него из рук и покатались на пол.

– Как! – воскликнул он. – Ты еще не умер? Уж не потерял ли яд свое действие?

– Яд, дитя!.. Ах!.. – И с ужасным криком старик закрыл себе лицо обеими руками; потом он продолжал со страшной энергией: – Жан! Жан! Скажи мне, что это ложь. Воруй у меня, грабь, если хочешь; но не говори, что ты мог убить человека, который жил только для тебя. Вот бери золото; я для тебя собирал его. Ступай! Ступай!

И утомленный старик упал к ногам убийцы и корчился на полу в агонии, в тысячу раз более нестерпимой, чем та, которую он претерпел перед этим.

Вор посмотрел на него с холодным презрением.

– Что я тебе сделал, несчастный! – воскликнул старик. – Разве я мало любил и ласкал тебя? Ты был сиротой, брошенным всеми. Я взял тебя, воспитал, усыновил. Если я заслужил имя скупого, то лишь для того, чтоб тебя не презирали, тебя, моего наследника, когда меня не будет больше, тебя, обиженного природой. Ты получил бы все мое богатство после моей смерти. Разве ты не мог продлить свою милость еще на несколько месяцев, несколько дней? Что я тебе сделал?

– Ты продолжал жить и не хотел писать завещание.

– Боже мой! Боже мой!

– Слушай: я все приготовил к бегству. Смотри. У меня есть паспорт, лошади ждут меня внизу, запасные заказаны. У меня твое золото.

И, говоря таким образом, негодяй продолжал забирать свертки.

– А теперь, если я оставляю тебе жизнь, какая у меня гарантия, что ты не донесешь на меня?

При этих словах он подошел к старику с угрожающим видом.

Гнев последнего уступил место страху. Он задрожал перед этим чудовищем.

– Оставь мне жизнь... дай мне жить для... для...

– Для чего?

– Для того, чтобы простить тебя! Да, ты можешь жить без страха. Клянусь...

– Ты клянешься? Кем и чем, старик? Я не могу тебе верить.

Еще одна минута, и рука, уже поднятая убийцей, задушила бы свою жертву. Но между ней и убийцей явилось видение, которое казалось пришедшим с того света, существование которого отвергали оба.

Разбойник отскочил, потом повернулся и бросился вон.

Старик снова упал на пол без чувств...

VIII

Вернувшись к старику на другой день, иностранец нашел его спокойным и был сам удивлен, увидев его оправившимся от волнений и страданий прошлой ночи. Больной выразил благодарность своему спасителю горячими слезами и сообщил ему, что позвал одного из своих родственников, который с этих пор будет заботиться о его безопасности и нуждах.

– Так как, – прибавил он, – у меня еще есть деньги, а впредь мне нет никакой причины быть скупым.

Потом он стал быстро рассказывать об обстоятельствах его союза с тем, который покушался убить его.

Еще в молодости он поссорился со своей семьей на почве религиозных разногласий. У него не было детей; он решился усыновить ребенка из народа и воспитать его своим последователем. Он выбрал сироту самого темного происхождения, уродство и вид которого были для него сперва причиной сострадания, а позже причиной слепой и чрезвычайной привязанности. В этом оборывыше он любил не только сына, но и свою теорию. Он воспитал его согласно философским принципам французских энциклопедистов. Гельвеции доказал ему, что воспитание может все, и до восьми лет любимым девизом маленького Жана было: Свет и Добродетель. Ребенок выказывал способности, в особенности к искусству.

Его покровитель стал искать учителя, такого же, как он сам, и выбрал живописца Давида. Этот художник, такой же отвратительный, каким стал его ученик, был, конечно, также материалистом и атеистом, как того желал покровитель.

Ребенок рано почувствовал свое безобразие. Его благодетель напрасно старался философскими афоризмами тешить его; но когда он объяснял ему, что на этом свете деньги покрывают множество грехов, ребенок жадно слушал его и забывал причину своей тоски. Сбирать деньги своему протеже, единственному существу, которое он любил в этом свете, – вот в чем состояла страсть покровителя. Читатель видел, как он получил свою награду.

– Но я рад, что он убежал, – сказал старик, вытирая себе глаза. – Он оставил бы меня в самой ужасной нищете, и я все-таки не мог бы решиться обвинить его.

– Так как вы сами виновник его преступлений.

– Как! Я, который никогда не переставал твердить ему о красоте, добродетели! Объяснитесь.

– Увы! Если ваш ученик не объяснил вам этого вчера своими признаниями, то ангел бы напрасно спустился с неба, чтобы доказать вам это.

Старик беспокойно заметался на постели и собирался возразить, когда его родственник, за которым он посылал, вошел в комнату. Это был человек немного старше тридцати лет, лицо его, сухое, худое, не выражало ничего, глаза были постоянно неподвижны, а губы сжаты. Он выслушал с возгласами ужаса рассказ своего родственника и старался всеми средствами уговорить его донести на своего любимца.

– Нет, Рене Дюма! – воскликнул старик. – Вы адвокат, вы привыкли ни во что не ставить человеческую жизнь. Как только человек нарушил закон, вы кричите: «Повесить его!»

– Я! – закричал Дюма с поднятыми руками и выпученными глазами. Почтенный философ, вы очень дурно судите обо мне. Никто не сожалеет больше меня о строгости нашего свода законов.

Адвокат остановился, тяжело дыша. Иностранец пристально посмотрел на него и побледнел. Дюма заметил эту перемену и обратился к нему:

– Разве вы не такого же мнения, сударь?

– Простите меня; я старался подавить в себе неопределенный ужас, который кажется мне пророческим.

– И этот страх?..

– Заключался в том, что если мы с вами снова увидимся, то ваши мнения не будут теми же!

– Никогда!

– Вы восхищаете меня, кузен Рене, – сказал старик, жадно прислушивавшийся к словам своего родственника. – Ах! Я вижу, что в вас есть истинное чувство справедливости и филантропии. Отчего я так медлил узнать вас? И, – продолжал старик с некоторым колебанием, – вы не думаете, как этот благородный иностранец, что я ошибся в правилах, которым учил этого несчастного?

– Нет, конечно. Разве можно сердиться на Сократа за то, что Алкивиад был нечестивым изменником.

– Слышите! Слышите! Но у Сократа был Платон. Отныне ты будешь моим Платоном. Слышите! – повторил старик, повертываясь к иностранцу, но последний был уже на пороге. Да и кто стал бы спорить с самым упрямым фанатизмом, фанатизмом неверия?

– Вы уходите, – воскликнул Дюма, – не дав мне поблагодарить вас, благословить за жизнь, которую вы вернули этому почтенному старику? Если когда-нибудь я смогу расплатиться... если когда-нибудь вам понадобится кровь Рене Дюма...

Произнося таким образом свои уверения, он дошел за иностранцем до дверей передней; там он остановил его на минуту, посмотрел назад, чтобы убедиться, что его не могли слышать, и обратился к нему вполголоса:

– Мне бы нужно было вернуться в Нанси; я не люблю терять свое время... Вы не думаете, сударь, что этот разбойник унес все деньги старого дурака?

– Разве, господин Дюма, Платон так говорил о Сократе?

– Вы колки. Да вы и имеете право быть таким. Сударь, мы увидимся с вами в один прекрасный день.

– В один прекрасный день! – пробормотал иностранец и нахмурился.

Он поспешно вернулся к себе, провел целый день и следующую ночь один, углубленный в занятия, которые, какого бы рода они ни были, послужили только для того, чтобы удвоить его мрачную озабоченность. Каким образом его судьба могла связаться с судьбой Рене Дюма или бежавшего убийцы? Отчего легкий воздух Парижа казался ему удушливым? Какой инстинкт заставлял его бежать от этих блестящих людей, от этого очага возникающих надежд света? Какой голос кричал ему не возвращаться? Но к чему эти предсказания и предчувствия?.. Он оставляет Францию, он возвращается, прекрасная Италия, к твоим величественным развалинам! На Альпах его душа вдыхает еще раз свободный воздух. Свободный воздух! Увы! Человечек никогда не будет так же свободен на улице, как в горах. И ты тоже, читатель. Вернемся в более высокие страны, местопребывание более чистых обитателей.

Кроткая Виола, сидящая на берегу лазурного залива, подле могилы Вергилия и грота Кимбров, мы возвратимся к тебе!

IX

Ну, Пизани, доволен ли ты теперь? Вот ты снова вернулся к своей должности и сидишь перед пюпитром; твоя верная скрипка получила свою часть твоего торжества, твое образцовое произведение занимает всех; твоя дочь отличается на сцене; артистка и музыка так соединены друг с другом, что, аплодируя одной, аплодируют в то же время другой. Тебе дают место в оркестре; не слышно больше насмешек, не видно насмешливых взоров, когда с пламенной нежностью ты ласкаешь свою скрипку, которая жалуется, плачет, бранится и сердится под твоей безжалостной рукой. Публика понимает теперь, что истинный гений всегда имеет право на неровности. Неровная поверхность луны делает ее светлой и видимой для человека.

Джиованни Паизьелло! Маэстро капеллы, если твоя кроткая и благосклонная душа умеет завидовать, то ты должен страдать, видя Неаполь у ног Сирены, гармония которой заставила тебя печально качать головой. Но ты, Паизьелло, спокойный в своей славе, ты знаешь, что нужно дать место новому.

Чтобы быть превосходным, уважай самого себя.

Целая зала отдала бы сегодня все за те самые вариации, которые она прежде освистывала. Но нет, напрасно ждали от Пизани новых вариаций; в течение двух третей своей жизни он молчаливо работал над своим образцовым произведением; ничего больше не мог он прибавить к нему, несмотря на все желание. Но точно так же критики напрасно желали найти недостатки.

Да, правда, и его шипящий смычок не смилуется над малейшими из чужих ошибок. Но начини он сам сочинять, он уже не видит, что его произведение может выиграть от новых вариаций. Между тем Виола стала идолом целого Неаполя; она царица, избалованный ребенок сцены. Испортить ее игру – вещь легкая. Испортит ли она ее натуру? Не думаю. Дома, у себя, она всегда добра и проста и по-прежнему садится у двери, по-прежнему глубоко задумывается.

Сколько раз, дерево с кривым стволом, она смотрела на твои зеленые ветки! Сколько раз, как и ты, в своих фантастических мечтах боролась она за свет, но не за театральный свет! Ребенок, довольствующийся лампой, – что я говорю – бледным ночником. Для дома грошовая свечка удобнее всех звезд неба...

Недели проходили, незнакомец не показывался; проходили месяцы, а его предсказание страданий еще не исполнилось. Однажды вечером Пизани заболел. После его успеха последовало множество просьб сочинить концерты и сонаты для его любимого инструмента. Он проводил целые недели, дни и ночи за сочинением пьесы, в которой он рассчитывал превзойти себя. Он выбрал, как всегда, один из тех сюжетов, которые, казалось, невозможно положить на музыку и трудности которых он любил преодолевать исключительной силой своего таланта, – ужасную легенду о метаморфозе Филомеля.

Пьеса начиналась с веселого пира. Среди праздника, даваемого королем Фракии, внезапно диссонанс прерывал веселые ноты. Король узнает, что его сын погиб от руки сестер-мстительниц; быстрая, как ветер бури, мелодия сердито льется, выражая страх, ужас, отчаяние. Отец отправляется преследовать сестер. Слушайте! Неприятные, тяжелые звуки ужаса вдруг перешли в тихую жалобу! Метаморфоза совершилась, и Филомель, превратившийся в соловья, издает нежные трели, которые должны поведать свету историю его несчастий... Во время этой трудной и многосложной работы здоровье композитора, возбужденного своим недавним торжеством и возродившимся тщеславием, вдруг надломилось. Он захворал ночью; на другой день, утром, доктор нашел, что у него вредная и заразительная лихорадка. Виола и ее мать приняли на себя трудную задачу ухаживать за ним; но скоро эту обязанность пришлось исполнять одной Виоле. Синьора Пизани заразилась, и в несколько часов ее положение стало более опасным, чем положение ее мужа. Неаполитанцы, как и все жители жарких стран, охотно делают эгоистами и жестокими под влиянием ужаса, внушаемого эпидемией. Джионетта и та сказыва-

васлась больной, чтобы не входить в комнату Гаэтано. На Виолу пала вся тяжесть обязанностей, налагаемых в этом случае любовью и состраданием. Это было для нее ужасным испытанием. Сократим, однако, подробности.

Жена умерла первая.

Однажды, незадолго до захода солнца, Пизани проснулся; впервые после бреда, который в продолжение двух дней его болезни давал ему редкие промежутки покоя, он обвел комнату слабым, потухшим взглядом и с улыбкой узнал Виолу. Он произнес ее имя, приподнялся на постели и протянул к ней руки. Она бросилась к нему на грудь, стараясь остановить обильно лившиеся слезы.

– Твоя мать! – проговорил он. – Разве она спит?

– Да, она спит! – И слезы полились снова.

– Я думал... что я такое думал? Не знаю! Но не плачь... мне теперь будет хорошо; очень, совсем хорошо. Она придет ко мне, когда проснется, не правда ли?

Виола не могла говорить; она поспешила приготовить лекарство, которое больной должен был принять, как только бред прекратится. Доктор приказал ей послать за ним, как только произойдет эта важная перемена. Она пошла к двери, позвала женщину, которая во время приговорной болезни Джионетты согласилась заменить ее, но служанка не отвечала. Она напрасно искала ее во всех комнатах.

Пример Джионетты заставил бежать и ее. Что делать? Доктор просил в этой ситуации не медлить ни одной минуты. Ей надо было оставить своего отца и самой идти за доктором.

Она вернулась к больному; успокоительное лекарство, казалось, произвело уже свое целительное действие. Он лежал с закрытыми глазами, дыхание его было спокойно, как во сне. Тогда Виола поспешила за доктором. Но лекарство вовсе не произвело того действия, которое она предположила; вместо благотворного сна оно вызвало что-то вроде лихорадочной спячки, в которой ум, мучимый странным волнением, находил бессвязные мысли, занимавшие его раньше. Это не был сон, это не был бред, это было то положение, наполовину сонное, наполовину бодрствующее, которое производит иногда опиум, и каждый раздраженный нерв передает лихорадочные импульсы всему организму, давая ему обманчивую и болезненную силу.

Пизани чего-то не доставало. Чего? Он чувствовал это, но не сознавал. Это было соединение двух самых существенных нужд его души: ему не доставало голоса его жены и прикосновения его подруги, скрипки.

Едва только Виола ушла, как он поднялся с постели, спокойно надел свой старый халат, тот, который он всегда надевал, когда сочинял.

Он ласково улыбнулся при воспоминании, надевая халат, и, пройдя через комнату нетвердыми шагами, вошел в маленький кабинет, в котором его жена, с тех пор как болезнь разлучила их, проводила мучительные минуты.

Комната была пуста. Он осмотрел ее блуждающими глазами, пробормотал несколько бессвязных слов и потом медленными шагами обошел все комнаты пустого дома. Наконец он добрался до той, где старая Джионетта, верная если не чужой пользе, так по крайней мере своей собственной безопасности, расположилась в самом отдаленном углу дома из боязни заразиться. Когда она увидела это привидение с блуждающими, беспокойными и страшными глазами, она вскрикнула и упала к его ногам. Он нагнулся к ней, провел пальцами по ее наполовину закрытому лицу, тряхнул головой и проговорил едва слышным голосом:

– Я не могу их найти, где они?

– Кто, мой дорогой хозяин? О! Сжальтесь над собою; их здесь нет... Царица небесная! Он тронул меня; я умерла!

– Умерла! Кто умер? Разве есть кто-нибудь мертвый?

– О! Не говорите так... вы хорошо знаете: моя бедная госпожа, она заразилась вашей лихорадкой, ею можно убить целый город. Святой Януарий, помоги мне. Моя бедная гос-

пожа... она умерла, похоронена, а я, ваша верная Джионетта, несчастная!.. Ступайте! Лягте снова в постель, мой дорогой господин... ступайте!

Бедный Гаэтано с минуту простоял неподвижно; потом нервная дрожь пробежала по его телу, он повернулся и исчез, так же как и явился, будто молчаливое привидение. Он пошел в комнату, где имел обыкновение сочинять, где его жена с нежным терпением сидела подле него, восхваляя то, над чем все смеялись. В одном углу он нашел лавровый венок, а недалеко от него, наполовину прикрытый мантилей, покоился в футляре его инструмент.

Виола недолго ходила, она нашла доктора и возвращалась вместе с ним; подходя к дому, они услышали гармонические, грустные аккорды, раздиравшие душу.

Они обменялись испуганными взглядами и быстро побежали к дому. Пизани обернулся, когда они вошли в комнату. Его взгляд, страшный и повелительный, заставил их в страхе отступить. Черная мантилья и лавровый венок лежали перед ним. Виола все поняла с первого же взгляда; она кинулась к его ногам, она порывисто целовала их:

– Отец! Отец! Ведь я осталась еще у тебя!

Крик отчаяния утих, звуки переменились, печаль, еще живая в мелодии, соединилась с аккордами и с менее зловещими мыслями. Соловей улетел от преследования своих врагов. Легкие, воздушные, прелестные ноты полились из-под смычка и потом вдруг утихли. Инструмент упал на пол, струны лопнули с глухим треском. Артист посмотрел на своего ребенка, потом на лопнувшие струны...

– Похороните меня рядом с ней, – проговорил он спокойным голосом, – а это рядом со мной.

При этих словах все его тело скорчилось. Последняя судорога пробежала по его лицу, и на пол упало безжизненное тело. В своем падении он смял лавровый венок, который тоже упал подле него.

Солнце бросало на всех троих свои последние лучи через окно, увитое виноградными лозами. Так улыбается вечная природа, глядя на останки всего, что делает жизнь славной и знаменитой.

X

Пизани похоронили вместе с его скрипкой в том же гробу.

Виола осталась одна на свете, одна в доме, где с самой колыбели одиночество казалось ей вещью противоестественной. Это уединение, эта тишина были для нее сначала нестерпимыми.

Она приняла с благодарностью предложение убежища в доме и семействе соседа, тронутого ее несчастьем, очень привязанного к ее отцу и к тому же члена того же оркестра. Но в скорби общество чужих, утешения посторонних еще больше раздражают рану. К тому же ужасно слышать от других слова «отец», «мать», «дочь», точно смерть существует только для вас; тяжело видеть спокойную правильность их жизни, какую вы сами вели до сих пор.

Нет! Могила и та напоминает нам о потере менее, чем общество тех, которым некого оплакивать. Вернись к своему одиночеству, юная сирота, вернись в пустой и ледяной дом: скорбь, которая ждет тебя на его пороге, примет тебя, как улыбка на безжизненных устах. Оттуда, через окно, с твоего места у двери, ты увидишь еще дерево, одинокое, как и ты, выросшее в расщелинах утеса и проложившее себе путь к свету. Так и ты, через всякую скорбь, пока время способно возобновлять свежесть молодости, борись постоянно с инстинктом человеческого сердца. Только когда силы истощены, когда молодость уже прошла, только тогда солнце напрасно светит для человека и для дерева.

Проходили недели, длинные и скучные месяцы, но Неаполь не позволял своему идолу пренебрегать долее своими обязанностями. Голос Виолы снова раздался в театре. Золото и слава расточались молодой актрисе; но она от этого не изменила простоты своего образа

жизни, своему скромному жилищу, своей единственной служанке, недостатки и эгоизм которой ускользали от неопытности Виолы.

Ее окружали всякие козни, всякие искушения становились на ее пути; но ее добродетель выходила из них незапятнанной. Ведь из уст, которые уже немы, она слышала об обязанностях, возлагаемых на молодую девушку честью и религией, и всякая любовь, не говорившая о венчании, была отвергаема ею, как оскорбление. Но у нее была и другая защита; по мере того как скорбь и уединение давали ее сердцу опытность и развивали в ней чувствительность, смутные видения ее детства обратились в идеальную форму любви. Образ и голос иностранца всегда соединялись в ее душе с идеалом, вызывая в ней невольный ужас.

Прошло около двух лет с тех пор, как он показался в Неаполе. Все, что о нем знали, было то, что несколько месяцев после его отъезда его корабль получил приказ отправиться в Ливорно. Неаполь, любопытство которого было сильно возбуждено его посещением, по-видимому необыкновенным, почти забыл о нем; но сердце Виолы было более верным. Часто образ незнакомца возникал в мечтах артистки, и, когда ветер шелестел листьями дерева, неразрывно связанного с воспоминанием о нем, она вздрагивала, краснея, точно слышала его голос.

В свите ее поклонников был один, которого она слушала с меньшим негодованием, чем остальных, частью, конечно, оттого, что он говорил языком ее матери, а частью оттого также, что его застенчивость не имела ничего, что бы могло беспокоить ее или не нравиться ей. Его положение, менее высокое, чем положение молодых людей неаполитанского высшего круга, которыми она была окружена, делало его ухаживания совсем не оскорбительными; наконец, красноречивый мечтатель, каким он был, часто выражал мысли, которые казались как бы эхом тех, что она хранила в самых глубоких тайниках своего сердца.

Он стал ей очень нравиться. Между ними установились отношения, похожие на отношения между братом и сестрой. Если в сердце англичанина и возникали надежды, недостойные ее, то он по крайней мере никогда не смел их высказывать.

Виола! Бедная, одинокая девушка, не опасно ли это для тебя? Или опасность находится в идеале, который ты ищешь?..

Здесь останавливается наша прелюдия, как увертюра какого-нибудь странного и сверхъестественного представления.

Книга вторая

Искусство, любовь и тайна

I

Однажды ночью, при бледном свете луны, в садах Неаполя четверо или пятеро молодых синьоров сидели под деревом, ели шербет и прислушивались, в промежутках разговора, к музыке, оживлявшей это любимое место гуляний неаполитанцев. Один из них был молодой англичанин, который до тех пор был душой общества, но уже несколько минут сидел в мрачной и рассеянной задумчивости. Его соотечественник заметил это его состояние и, ударив его по плечу, проговорил:

– Что с вами, Глиндон? Вы больны? Вы ужасно бледны и дрожите. Не внезапная ли это простуда? Вы хорошо сделаете, вернувшись домой: эти итальянские ночи часто бывают опасны для нашего английского темперамента.

– Нет, мне теперь лучше, это была минутная дрожь. Я сам не могу дать себе в этом отчета.

Один молодой человек, около тридцати лет, наружность которого указывала на его замечательное превосходство над всеми окружавшими, быстро обернулся и пристально посмотрел на Глиндона.

– Я, кажется, понимаю, что вы хотите сказать, и, может быть, – прибавил он с улыбкой, – я объясню это лучше, чем вы сами.

Он повернулся при этом к остальным и продолжал:

– Между вами нет ни одного, господи, который не чувствовал бы, по крайней мере раз в жизни, особенно проведя ночь без сна и в уединении, как странное и необъяснимое впечатление холода и ужаса пробегало по телу: кровь застывала, сердце останавливалось, тело дрожало, волосы поднимались дыбом, вы не смели ни поднять глаз, ни взглянуть в темные углы комнаты; у вас являлась какая-то страшная мысль, что-то сверхъестественное подходило к вам; а потом, когда таинственная тишина нарушалась, вы пытались смеяться над вашей слабостью. Разве вы никогда не испытывали того, что я сейчас описал вам? Если да, то вы можете понять, что перечувствовал наш молодой друг несколько минут тому назад, даже посреди этой волшебной сцены, посреди наполненного благоуханием воздуха июльской ночи.

– Вы совершенно верно определили чувство, охватившее меня, – отвечал Глиндон, очевидно сильно удивленный. – Но какой внешний признак мог так верно обнаружить мои впечатления?

– Мне известны эти явления, – отвечал иностранец. – Человек с моей опытностью не может ошибаться.

Все присутствующие признались, что понимали и испытывали то, что незнакомец сейчас описал.

– Одно из наших национальных суеверий объясняет это так, – проговорил Мерваль (тот, который первый заговорил с Глиндоном), – что в ту минуту, как вы чувствуете, что ваша кровь стынет, а волосы на голове становятся дыбом, кто-то проходит по тому месту, где будет ваша могила. Нет такой страны, которая не объясняла бы каким-либо суеверием это странное чувство; между арабами есть секта, которая полагает, что в такую минуту Бог назначает час вашей смерти или смерти кого-нибудь, кто вам дорог. Дикий африканец, воображение которого омрачено гнусными обрядами мрачного идолопоклонства, воображает, что дьявол тянет его в это время к себе за волосы: вот каким образом смешное соединяется с ужасным.

– Это, очевидно, ощущение чисто физическое и происходит от расстройства желудка или волнения крови, – сказал молодой неаполитанец, с которым Глиндон был приятелем.

– Отчего же в таком случае все народы соединяют с ним какой-нибудь предрассудок, какой-нибудь суеверный ужас и придают ему какое-нибудь отношение связи между материальными элементами нашего существа и невидимым миром, которым, как предполагают, мы окружены? Что касается меня, я думаю...

– Что вы думаете? – спросил Глиндон, любопытство которого было сильно возбуждено.

– Я думаю, – продолжал незнакомец, – что это волнение есть только выражение отвращения и ужаса материи перед чем-нибудь непреодолимым, но антипатичным всему нашему существу, перед какой-нибудь враждебной нам силой, которой, к счастью, мы не в состоянии постигнуть из-за несовершенства наших чувств.

– Разве вы верите в духов? – спросил Мерваль с недоверчивой улыбкой.

– Я говорю вовсе не о духах; но могут существовать виды материи, невидимые и столь же неосязаемые для нас, как и микроскопические животные воздуха, которым мы дышим, и воды, находящейся в этом бассейне. Эти существа могут иметь свои страсти и качества так же, как и микроскопические животные, с которыми я их сейчас сравнил. Чудовище, которое живет и умирает в капле воды, питающееся существами еще более микроскопическими, чем оно само, не менее ужасно в своем гневе и дико по своей природе, чем лев пустыни. Вокруг нас могут быть вещи, которые были бы опасны и вредны человеку, если бы Провидение простыми видоизменениями материи не положило преграды между ними и нами.

– И вы думаете, что эта преграда никогда не может быть устранена? быстро спросил молодой Глиндон. – Неужели всемирные предания магии и чародейства – только простые басни?

– Может быть, да, а может быть, и нет, – небрежно отвечал иностранец. Но в этом веке, по преимуществу веке Разума, кто будет настолько безумен, чтобы решиться уничтожить преграду, отделяющую его от тигра и льва? Кто станет жаловаться на закон, согласно которому место акуле в обширных морских пучинах? Но оставим этот праздный спор.

Он встал, заплатил за шербет, слегка поклонился обществу и скоро исчез за деревьями.

– Кто этот господин? – с жадным любопытством спросил Глиндон.

Все молча переглянулись.

– Я вижу его в первый раз, – ответил наконец Мерваль.

– И я тоже.

– И я...

– Я его хорошо знаю, – сказал тогда неаполитанец, который был не кто иной, как Цетокса. – Если вы не забыли, он пришел со мной. Он приезжал в Неаполь два года тому назад, а теперь приехал снова; он несметно богат и вообще очень интересен. Мне очень неприятно, что он вел сегодня такой странный разговор, который поощряет и подтверждает смешные слухи, ходящие про него.

– Действительно, – проговорил другой неаполитанец, – события того времени, хорошо вам известные, Цетокса, оправдывают слухи, которые вы хотели бы заглушить.

– Мы так мало вращаемся, мой соотечественник и я, в неаполитанском обществе, – сказал Глиндон, – что многого не знаем из того, что кажется достойным большого внимания. Можно вас спросить, что это за слухи и на какие события вы намекаете?

– Что касается слухов, – отвечал Цетокса, вежливо обращаясь к обоим англичанам, – то достаточно будет сказать, что синьору Занони приписывают такие качества, которые каждый желал бы иметь для себя, но которые весь свет осуждает, когда они принадлежат другому. Случай, о котором упоминает синьор Бельджиозо, особенно проявил эти качества, и, признаюсь, было немало чудесного. Вы, без сомнения, играете, господа?

Здесь Цетокса остановился, и так как оба англичанина время от времени бросали на игровой стол по несколько червонцев, то они в ту же минуту отвечали утвердительно.

– В таком случае, – сказал Цетокса, – я продолжаю. Несколько дней тому назад, в день приезда Занони в Неаполь, случаю было угодно, чтобы я играл довольно долго и проиграл. Я поднялся со своего места, решившись больше не играть, когда вдруг заметил Занони, с которым я перед тем познакомился и которому был несколько обязан. Не дав мне времени выразить удовольствие, которое я испытал при встрече с ним, он взял меня за руку, говоря:

– Вы проиграли больше, чем вы можете заплатить, не стесняя себя. Что касается меня, я ненавижу игру, но я интересуюсь этой партией. Хотите вы играть на эту сумму за меня? Проигрыш мой; половина выигрыша ваша.

Удивленный этим предложением, я хотел отказаться, но голос и взгляд Занони имели что-то непреодолимое; к тому, же я жаждал восполнить свои потери и, конечно, не встал бы из-за стола, если бы у меня в кармане оставалось хоть сколько-нибудь денег. Я сказал ему, что принимаю его предложение с условием, что мы разделим проигрыш, как и выигрыш, пополам.

– Как хотите, – ответил он с улыбкой, – вы можете быть уверенным, что выиграете.

Я снова сел. Занони встал за мной; счастье вернулось ко мне, я все время выигрывал. Короче, когда я кончил играть, я был богат.

– Плутство не может быть в публичной игре? В особенности в банке?

Этот вопрос был задан Глиндоном.

– Конечно, нет, – ответил граф. – Наше счастье было действительно чудесно, до такой степени, что один сицилиец (сицилийцы вообще дурно воспитаны и вспыльчивы) рассердился и сделался заносчив. «Синьор, – сказал он, повертываясь к моему новому другу, – вы не должны стоять так близко к столу. Не знаю, как это произошло, но вы действовали неблагородно».

Занони спокойно отвечал, что не сделал ничего против правил, что он в отчаянии оттого, что один игрок не может иначе выигрывать, как только за счет остальных, и что он не мог поступить нечестно, если бы даже и желал. Сицилиец принял сдержанность иностранца за трусость и сделался еще заносчивее. Он встал из-за стола и посмотрел на Занони с слишком вызывающим видом.

– И, – прервал Бельджиозо, – странно то, что все это время Занони, стоявший против меня и за которым я следил, не сделал ни малейшего замечания и не выказал никакого волнения или смущения. Он пристально посмотрел на сицилийца, и я никогда не забуду этого взгляда; я не сумею описать вам его, но у меня кровь застыла в жилах. Сицилиец отступил, шатаясь, точно получив удар. Я заметил, что он вздрогнул и опустился на стул. И тогда...

– Да, тогда, к моему величайшему удивлению, – сказал Цетокса, – наш сицилиец, обезоруженный взглядом Занони, обратил весь свой гнев на меня... но вы, может быть, не знаете, господа, что я составил себе некоторую репутацию в фехтовании.

– Лучший боец во всей Италии! – заметил Бельджиозо.

– Раньше, чем я успел отгадать, как и почему, – продолжал Цетокса, – я был уже в саду, за домом, с Угелли, так звали сицилийца, против меня и пятью или шестью синьорами вокруг нас в качестве секундантов. Занони сделал мне знак, и я подошел к нему. «Этот человек умрет, – сказал он. – Когда он будет лежать, подойдите к нему и спросите, не желает ли он быть похороненным рядом с его отцом в церкви Сен-Дженаро». «Вы разве знаете его семью?» – спросил я его с удивлением.

Занони не отвечал, и минуту спустя я уже стоял против моего противника. Нужно отдать ему справедливость, сицилиец великолепно владел шпагой, и я никогда не дрался с таким опытным противником. Однако, – прибавил Цетокса со скромностью, – моя шпага пронзила его. Я подбежал к нему, он уже еле мог говорить. «Не имеете ли вы какого-нибудь желания?» – сказал я. Он покачал головой. «Где вы хотите, чтобы вас похоронили?» Он показал рукой по направлению к Сицилии. «Как? – воскликнул я с некоторым удивлением. – А не рядом с вашим отцом, в церкви Сен-Дженаро?»

При этих словах его лицо исказилось, он пронзительно вскрикнул, кровь хлынула из его рта, и он упал мертвый. Самая странная часть истории будет дальше. Мы похоронили его в Сен-Дженаро. Для этой церемонии приподняли гроб его отца, крышка свалилась, и скелет представился нашим взорам. Во впадине черепа мы увидели тонкое стальное лезвие. Эта находка вызвала подозрения и розыски. Отец, который был богат и скуп, внезапно умер; его похоронили очень скоро, по причине, как говорили, сильной жары. Но подозрения не были устранены, поэтому назначили следствие. Расспросили старика слугу, и он признался наконец, что сын убил отца; выдумка была остроумна: железо было так тонко, что вошло в мозг так, что показалась только капля крови, которую скрыли седые волосы. Сообщник скоро будет казнен.

– А Занони дал свои показания? Объяснил он?..

– Нет, – ответил граф. – Он объявил, что совершенно случайно был в церкви в этот день утром и заметил могилу графа Угелли; что его проводник сказал ему, что сын покойного был в Неаполе, где он проматывал свое богатство в игорном доме. Пока мы играли, он услышал имя сицилийца, и после вызова в суд назвать место погребения графа его заставило неопределенное чувство, которое он не мог и не хотел объяснить.

– Ваша история не слишком ужасна, – сказал Мерваль.

– Да, но мы, итальянцы, суеверны; на это предчувствие многие смотрят как на внушение провидения. На другой день иностранец сделался предметом общего внимания и любопытства. Его богатство, его образ жизни, его красота сделали из него льва; и потом я имел удовольствие представить такую необыкновенную личность самым знатным синьорам и прекраснейшим дамам нашего города.

– Очень интересный рассказ, – проговорил Мерваль, вставая. – Пойдемте, Глиндон, домой; теперь уже около полуночи. До свидания, синьор.

– Что вы думаете об этом рассказе? – спросил Глиндон своего товарища.

– Мне кажется совершенно ясным, что этот Занони какой-нибудь ловкий авантюрист. Неаполитанцу же выгодно перевозить его всюду. Известный авантюрист, которого делают предметом ужаса и любопытства, втирается в общество, он чрезвычайно хорош собой, и женщины в восторге принимают его без всякой другой рекомендации, кроме его наружности и басен Цетоксы.

– Я не согласен с вами. Цетокса хотя и игрок, но он человек знатного происхождения, известный своей честью и храбростью. К тому же этот иностранец с благородной осанкой, гордым и спокойным видом не имеет по наружности ничего общего с высокомерным выскочкой и авантюристом.

– Мой дорогой Глиндон, простите меня. Вы еще не знаете света. Незнакомец пользуется своими физическими преимуществами, и его гордый вид просто уловка. Но, для перемены разговора, скажите, как идут ваши любовные дела?

– Виола не могла принять меня сегодня.

– Не женитесь на ней! Что скажут у нас, в Англии?

– Будем довольствоваться настоящим, – поспешно отвечал Глиндон. – Мы молоды, богаты, образованны, не будем думать о завтрашнем дне.

– Bravo, Глиндон! Вот мы и дошли. Спокойной ночи! Спите хорошенько и не думайте о синьоре Занони.

II

Кларенс Глиндон пользовался, не будучи богатым, полной независимостью. Его родители умерли, и у него оставалась в Англии у тетки одна только сестра, многими годами моложе его. Он рано выказывал большую склонность к живописи и скорей по любви, чем по необходимости.

сти, решился избрать карьеру, которая для английского художника начинается обыкновенно увлечением картинами на исторические темы.

Друзья Глиндона находили в нем действительно талант, но этот талант имел смелый и даже дерзкий характер. Всякая правильная и последовательная работа была ему ненавистна, и со своим честолюбием он мечтал скорее сорвать плоды, чем сажать деревья. Как большая часть молодых художников, он любил удовольствия и острые ощущения и предавался без осторожности всем увлечениям воображения и страстей. Он объездил все знаменитейшие города Европы с целью и искренним намерением изучить все божественные, образцовые произведения своего искусства; но в каждой местности удовольствия слишком часто отвлекали его от труда и живая красота слишком часто привлекала его внимание, препятствуя поклонению красоте искусства, холодной, но бессмертной.

Храбрый, смелый, тщеславный, беспокойный и жаждавший знания, он любил строить безрассудные планы и подвергать себя опасностям, полным для него прелести. Послушный и слепой раб минутного восторга и капризов своего воображения!

Он жил в ту эпоху, когда лихорадочная жажда перемен приготавливала путь этой отвратительной насмешке над человеческими надеждами – французской революции.

Из этого-то хаоса, в котором уже были уничтожены остатки древней веры, поднимались неопределенные и непонятные химеры.

Нужно ли напоминать читателю, что это время изящного скептицизма и мнимой мудрости было вместе с тем временем самой слепой веры и мистического суеверия, временем, когда магнетизм и магия находили адептов между последователями Дидро, когда пророчества переходили из уст в уста, когда зала философа-деиста превращалась в Гераклею, в которой маг вызывал тени мертвых; наконец, это было время, когда осмеивали религию и верили в Месмера и Калиостро. В этом неопределенном полусвете, предшественнике нового солнца, которое навсегда должно было рассеять мрак невежества и предрассудков, являлись все призраки, вырвавшиеся из своих феодальных могил, когда-либо проходившие перед глазами Парацельса и Агриппы.

Прельщенный зарею революции, Глиндон еще больше увлекался всем таинственным, что сопровождало ее, и для него, как для многих других, было естественно, что воображение, терявшееся посреди мечтаний и утопий, с жадностью хватало все, что обещало не простые научные истины, а какие-нибудь чудные открытия неведомого рая. В продолжение своих путешествий он слушал с живым участием, если не со слепой верой, все, что рассказывали про самых знаменитых духовидцев, и его душа была расположена к впечатлению, произведенному на него таинственным Занони.

Кроме того, его доверчивость можно объяснить еще иначе. Один из первых предков Глиндона со стороны матери составил себе довольно знаменитую репутацию как философа и алхимика. О нем ходили странные истории. Говорили, что его существование перешло обыкновенные пределы жизни и что он сохранил до последнего своего дня наружность человека средних лет. Наконец он умер с горя, как говорили, от потери правнучки, единственного творения, которое он, по-видимому, любил. Сочинения этого философа, хотя и немногочисленные, существовали и находились в фамильной библиотеке Глиндона. Их платоновский мистицизм, их смелые выводы и обещания, которые даны были в эмблематичной форме и аллегорической фразеологии, произвели на молодое воображение Глиндона глубокое впечатление. Его родители, не зная, какая опасность могла заключаться в поощрении идей, которые, по их мнению, должны были быстро исчезнуть под влиянием положительного духа времени, любили в длинные зимние вечера наводить разговор и на традиционную историю их знаменитого предка. Кларенс дрожал от радости, смешанной с таинственным страхом, каждый раз, когда его мать говорила о поразительном сходстве между чертами лица молодого наследника и наполовину

стертым портретом алхимика, украшавшим камин и составлявшим славу дома и восторг соседей. Справедливо, что чаще, чем мы воображаем, ребенок бывает отцом человека⁸.

Я говорил, что Глиндон любил удовольствия. Легко воспринимавший, как артист, всякие впечатления, он жил без забот, в ожидании, пока серьезный труд заменит это порхание с цветка на цветок. Он наслаждался почти до пресыщения всеми наслаждениями Неаполя, пока наконец не пленился красотой и голосом Виолы Пизани. Но его любовь, как и честолюбие, была неопределенна и непостоянна. Эта любовь не удовлетворяла его сердца, не наполняла всего его существа, не оттого, что он был не способен к сильной и благородной страсти, но потому, что его душа еще не совсем созрела, чтобы быть в состоянии развернуться. Одно время года благоприятствует цветку, другое плоду, поэтому необходимо, чтобы блестящие цветы воображения завяли раньше, чем страсть, которой они предшествуют, чтобы заставить созреть сердце. Одинаково веселый в своей уединенной мастерской и посреди друзей, Глиндон не способен был любить глубоко, так как необходимо, чтобы человек понял всю обманчивость мелочей жизни, дабы познать великое.

Французские сенсуалисты на своем светском языке называют любовь безумием! Но любовь, вполне понятая, есть мудрость.

К тому же свет занимал слишком много места в уме Глиндона. Честолюбие в занятиях искусством соединялось у него с желанием уважения и одобрения того ничтожного поверхностного меньшинства, которое мы называем светом. Как все те, которые обманывают, он сам постоянно боялся быть обманутым. Он не доверял нежной и наивной невинности Виолы. Он не мог серьезно предложить свою руку итальянской актрисе. Но скромное достоинство молодой девушки и что-то доброе и великодушное в его характере удерживали его до тех пор от менее достойных намерений, так что фамильярность, существовавшая между ними, казалось, была скорей основана на уважении и преданности, чем на любви. Он часто посещал театр, приходил за кулисы, чтобы поговорить с ней, наполняя свой альбом бесчисленными эскизами той красоты, которая очаровывала его как артиста и как влюбленного. Так, день за днем, он плыл наудачу по морю своих чувств, беспрестанно мучимый сомнениями, колебаниями, любовью и подозрениями. Подозрение кончалось всегда победой разума благодаря благоразумным увещаниям его друга, Мерваля, человека положительного и практического. На другой день того вечера, который я описал в начале этой части моего рассказа, Глиндон катался один верхом по берегам Неаполитанского залива, по ту сторону грота Позилипа. Солнце перестало печь, и прохладный ветерок подымался от блестящих волн. В ту минуту, как он нагнулся, чтобы прочесть надпись, высеченную на камне на краю дороги, он заметил шедшего впереди него человека. Он догнал его и, узнав Занони, поклонился ему.

– Открыли ли вы какие-нибудь древности? – спросил он, улыбаясь. – Их можно встретить по дороге так же много, как камней.

– Нет, – отвечал Занони, – если только не считать тех древностей, рождение которых восходит к началу света и которые природа беспрестанно уничтожает и создает снова. – И он показал Глиндону маленькое растение с бледно-голубым цветком, которое он тщательно потом спрятал на груди.

– Вы ботаник?

– Да.

– Это, говорят, самое интересное занятие.

– Да, для тех, которые понимают его.

– Разве это такая редкая наука?

⁸ Английская пословица, означающая, что от образования и воспитания ребенка зависит его будущее, что уже в ребенке заложены черты будущего человека: «The child is father of the man» (строка из стихотворения английского поэта У. Вордсворта).

– Редкая! Глубокая и искренняя философия искусства и науки, может быть, совершенно погибла в наше время пустых и поверхностных знаний. Не думаете ли вы, что не было никакой истины в этих таинственных преданиях, которые дошли до нас от самых отдаленных веков... как раковины, собранные сегодня на вершине гор, показывают нам место, где прежде находилось море! Древняя магия Колхиды разве была чем-нибудь другим, как не наукой о природе в ее самых низких творениях? На что указывает сказание о Медее, как не на ту силу, которую можно извлечь из зародыша и листа; может быть, в самом ничтожном растении заключается то, чего мудрецы Вавилона напрасно искали в звездах. Предание говорит нам, что существовала раса, умевшая убивать своих врагов издали, без оружия, без движения. Растение, которое вы топчете ногами, имеет, может быть, силу более разрушительную, чем все страшные истребительные инструменты ваших инженеров. Знаете ли вы, что на берега Италии, на древний мыс Цирцеи, пришли с Востока мудрецы, чтобы собирать растения самые простые, которые игнорируются ботаниками наших дней? Первые собиратели трав, учителя химии были этой расой, которую благоговение древних назвало Титанами. Я помню, что однажды, на берегах Гебруса, в царствование... – Занони вдруг остановился, потом прибавил с холодной улыбкой: – Но этот разговор ни к чему не ведет, кроме бесполезной траты вашего времени и моего.

Он снова остановился, пристально посмотрел на Глиндона и продолжал:

– Думаете ли вы, молодой человек, что неясное любопытство могло бы заменить серьезную работу? Я читаю в вашем сердце: не это растение хотите вы знать, а меня; но ваше желание не может исполниться.

– Вы не имеете вежливости ваших соотечественников! – воскликнул Глиндон, слегка задетый этими словами. – Допустив, что я желаю познакомиться с вами ближе, зачем вы отклоняете мой первый шаг?

– Я не отвергаю ничьих попыток, – возразил Занони. – Но мне необходимо знать тех, которые непременно этого желают; что же касается меня, то люди никогда не поймут меня. Если вы хотите сблизиться со мной, то вы это можете, но я советую вам избегать меня.

– Почему же вы так опасны?

– На этом свете часто одному человеку суждено быть опасным для другого помимо его воли. Если бы я захотел предсказать вашу будущность по исчислениям астролога, я сказал бы вам на его презренном языке, что моя звезда бросила тень на ваше созвездие в момент вашего рождения. Не встречайтесь со мной, если вы в состоянии избегать меня; я вас предупреждаю в первый и в последний раз.

– Вы презираете астрологов, а между тем ваш язык так же таинствен, как и их. Я не игрок и не дуэлянт. Почему бы мне бояться вас?

– Как вам угодно.

– Поговорим откровенно. Ваш вчерашний разговор живо заинтересовал и занял меня.

– Я это знаю; умы, подобные вашему, тянутся к таинственному.

Глиндон был снова задет этими словами, в которых, однако, не было ничего презрительного.

– Я вижу, что вы не находите меня достойным вашей дружбы. Хорошо... прощайте.

Занони холодно ответил ему на поклон, и, пока англичанин продолжал свою прогулку, он вернулся к своим ботаническим занятиям.

В тот же вечер Глиндон отправился по обыкновению в театр. Он следил за игрой Виолы, исполнявшей одну из своих самых блестящих ролей.

Зал дрожал от рукоплесканий. Глиндон был вне себя от любви и гордости.

«Это гордое создание, – думал он, – может, однако, принадлежать мне!»

Погруженный в эту радужную мечту, он вдруг почувствовал, что чья-то рука опустилась на его плечо; он быстро обернулся и узнал Занони.

– Вам угрожает опасность, – сказал последний. – Не возвращайтесь к себе сегодня вечером пешком или по крайней мере не возвращайтесь один.

Не успел Глиндон прийти в себя от удивления, как Занони исчез. Англичанин заметил его только в ложе какого-то синьора, куда он не мог войти.

Виола сошла со сцены. Глиндон устремился к ней; но Виола, против своего обыкновения, с нетерпением отвернулась, когда Глиндон заговорил с ней. Она отвела в сторону Джионетту, сопровождавшую ее постоянно в театр, и обратилась к ней вполголоса, но с волнением:

– Джионетта, он вернулся, он здесь, иностранец, о котором я тебе говорила... и один из всего зала он не аплодирует мне.

– Который же это, моя милочка? – спросила старуха с нежностью. – Он, должно быть, очень глуп. Он не стоит, чтобы о нем думали.

Актриса подвела Джионетту к сцене и показала ей в одной из лож на человека, отличавшегося от всех других простотой своего костюма и необыкновенной красотой.

– Он не стоит, чтобы о нем думать! – повторила Виола. – Не думать! Ах! Не думать о нем значило бы ни о чем не думать!

Режиссер в это время позвал Виолу.

– Джионетта, узнай его имя, – проговорила она быстро, направляясь на сцену и проходя мимо Глиндона, бросившего на нее взгляд, полный грусти и упрёка.

Артистка пела арию в сцене последней катастрофы, где все могущество ее голоса и таланта развertyвалось во всем своем блеске. Внимательная толпа, затаив дыхание, прислушивалась к каждому ее слову; но глаза Виолы искали только спокойных и невозмутимых глаз незнакомца. Она превзошла себя. Занони слушал и следил за ней со вниманием, но не выказывал ни малейшего знака одобрения. Ничто не изменило холодного и почти презрительного выражения его лица. Виола, игравшая роль женщины, которая любит, не будучи любимой, никогда так живо не чувствовала своей роли. Она проливала истинные слезы, это было зрелище почти ужасное. Ее унесли со сцены, утомленную в высшей степени, почти без чувств, посреди бури рукоплесканий. Все зрители поднялись разом, замахали платками, цветы и венки наводнили сцену. Мужчины плакали, женщины рыдали.

– Боже мой! – воскликнул один знатный неаполитанец. – Она зажгла во мне непреодолимый восторг. Сегодня же ночью она будет моею; ты все приготовил, Маскари?

– Все, синьор. А молодой англичанин?

– Этот надменный варвар? Я уж говорил тебе, что он поплатится кровью за свое безумие; я не хочу иметь соперников.

– Но он англичанин! При убийстве англичанина всегда проводят следствие.

– Разве море не достаточно глубоко и земля не довольно обширна, чтоб скрыть тело человека? Наши сбирь⁹ немые как могила; а меня... кто осмелится подозревать, обвинять князя N... Подумай об этом!.. Сегодня вечером. Я полагаюсь на тебя... его убьют воры, понимаешь? Страна изобилует ими; ограбьте его, чтоб придать более правдоподобности этому убийству. Возьми с собою трех человек, остальные составят мой конвой.

Маскари пожал плечами и поклонился в знак повиновения.

Улицы Неаполя не были тогда так безопасны, как теперь, и экипажи были роскошью менее дорогою и более необходимой. Экипаж, служивший обыкновенно молодой артистке, не приехал в этот вечер; Джионетта слишком хорошо знала красоту своей барышни и дерзость ее поклонников, чтобы смотреть без ужаса на перспективу возвращения пешком. Она объяснила свое затруднение Глиндону, который стал умолять Виолу, оправившуюся наконец от сильного волнения, взять его карету. До этой ночи она, может быть, и приняла бы такую услугу, но по той

⁹ Полицейские стражники в Италии.

или по другой причине на этот раз она наотрез отказалась. Раздраженный Глиндон удалился с довольно грустным видом. Джионетта остановила его.

– Подождите, синьор, – сказала она почти ласковым тоном, – дорогая синьора чувствует себя нехорошо; не сердитесь на нее; я заставлю ее решиться принять ваше предложение.

Глиндон стал ждать.

После короткого разговора между Джионеттой и Виолой последняя согласилась. Они сели в карету, а Глиндон остался у подъезда театра, чтоб вернуться к себе пешком.

Вдруг предостережение Занони пришло ему на память; он забыл о нем во время своей ссоры с Виолой, но сейчас решил внять ему и осмотрелся в надежде увидеть кого-нибудь из своих знакомых. Целая толпа ринулась из дверей театра; его толкали, тискали, но он не видел ни одного знакомого лица.

Стоя таким образом в нерешительности, он вдруг услышал свое имя, произнесенное голосом Мерваля, и, к своему величайшему облегчению, заметил своего друга, пролагавшего себе дорогу сквозь толпу.

– Я вам нашел, – сказал он, – место в карете графа Цетоксы. Пойдемте, он ждет нас.

– Как вы добры! Как вы меня нашли?

– Я встретил в коридоре Занони. «Ваш друг стоит у подъезда, – сказал он, – не позволяйте ему возвращаться домой пешком; улицы Неаполя не всегда безопасны». Я действительно вспомнил это и, встретив Цетоксу... но вот он сам.

Объяснения дальше не последовало, Глиндон сел в карету, поднял окно и заметил в то же время на тротуаре четырех человек, которые, казалось, внимательно следили за ним.

– Коспетто! – воскликнул один из них. – Вот англичанин.

Глиндон слышал восклицание только наполовину; карета довезла его до дому здоровым и невредимым.

Шекспир в «Ромео и Джульетте» не преувеличил фамильярную и нежную интимность, которая всегда существует в Италии между кормилицей и ребенком, которого она вскормила. Одиночество актрисы-сироты скрепило еще сильнее эту связь между нею и Джионеттой. Опытность Джионетты во всем, что касалось слабостей сердца, была совершенна, и, когда три ночи тому назад Виола, вернувшись из театра, горько плакала, няньке удалось вырвать у нее признание, что она увидела снова того, кого, в продолжение нескольких лет, наполненных печальными происшествиями, потеряла из виду, но не забыла, хотя он сам никак не показывал, что узнал ее. Джионетта не могла понять всех смутных и невинных волнений, увеличивавших печаль Виолы, но она своим простым и нехитрым умом сводила их к одному-единственному чувству – чувству любви. Здесь она была в своей сфере и смело могла предлагать свои соболезнования и утешения. Она не могла, правда, быть поверенной всех впечатлений, которые сердце Виолы заключало в своей глубине, так как это сердце никогда не могло бы найти слов для выражения своих тайн; но под каким бы условием Виола ни доверялась ей, она с удовольствием готова была делить с ней ее горе и служить ей, чем могла.

– Узнала ли ты, кто он? – спросила Виола, сидя одна в карете с Джионеттой.

– Да, это знаменитый синьор Занони, по которому сходят с ума все знатные дамы. Говорят, что он так богат... гораздо богаче всех англичан... но, конечно, синьор Глиндон все-таки...

– Довольно, – прервала молодая артистка. – Занони! Не говори мне больше об англичанине!

Между тем карета въехала в пустынную часть города, в которой находился дом Виолы; вдруг она остановилась. Испуганная Джионетта высунула голову в окно и заметила при бледном свете луны, что кучер, стащенный с козел, был связан двумя какими-то людьми, минуту спустя дверца быстро отворилась, и высокий человек, в маске и закутанный в длинную мантию, вскочил в нее.

– Не бойтесь ничего, прекрасная Пизани, – сказал он нежно, – с вами не случится ничего дурного.

И, говоря таким образом, он обвил рукой талию артистки и старался вытащить ее из кареты. Но Джионетта была редкой и драгоценной союзницей; она оттолкнула нападающего с силой, удивившей его, сопровождая свою защиту залпом ругательств самого энергичного свойства.

Человек в маске отошел, чтобы привести в порядок свой растрепанный во время борьбы костюм.

– Черт возьми! – воскликнул он, смеясь. – Она хорошо охраняема... Эй! Луиджи, Дживанни, возьмите прочь эту ведьму! Скорее, чего же вы ждете?

И он отстранился, чтобы пропустить своих подчиненных; в это время другой человек, тоже в маске и еще выше первого, подошел к карете.

– Не бойтесь ничего, Виола Пизани, – проговорил он вполголоса, – со мной вы действительно в безопасности.

Он приподнял свою маску, и Виола увидела благородные черты Занони.

– Будьте спокойны, я спасу вас.

Он исчез, оставив Виолу в удивлении, волнении и радости. Всего было девять масок: две держали кучера, третья держала лошадей Виолы, четвертая лошадей похитителей, еще трое (кроме Занони и того, который первым подошел к Виоле) стояли подле кареты, ждавшей на краю дороги. Занони сделал им знак, они подошли к нему; он показал им на первую маску, которой был не кто иной, как князь N, и, к своему величайшему удивлению, князь почувствовал, как его схватили сзади.

– Измена! – закричал он. – Измена между моими людьми. Что это значит?

– Посадите его в карету! Если он будет сопротивляться, пусть его кровь падет на его голову! – спокойно сказал Занони. Он подошел к людям, которые связывали кучера. – Оставьте его, – сказал он, – ступайте к вашему господину; вас трое, а нас шестеро, вооруженных с ног до головы. Считайте себя счастливыми, что мы оставляем вам жизнь... Ступайте...

Испуганные люди быстро удалились. Кучер снова сел на козлы.

– Подрежьте постромки и вожжи у их лошадей, – сказал Занони.

Потом он сел в экипаж Виолы, дал знак, и карета быстро покатилась, оставляя неудачливого похитителя в страшном гневе и удивлении, которых нельзя было описать.

– Позвольте мне объяснить вам тайну, – проговорил Занони. – Я узнал о заговоре, неважно каким образом, и помешал его исполнению. Виновник этого один дворянин, который долго, но тщетно ухаживал за вами. Он и двое его помощников следили за вами с самого вашего приезда в театр, назначив свидание шестерым остальным на том месте, где на вас напали; я их заменил своими людьми, и они приняли нас за своих сообщников. Перед этим я приехал верхом на место свидания и предупредил шестерых слуг, которые уже дожидались, что их синьор не нуждается сегодня в их услугах. Они мне поверили, удалились, и тогда я позвал своих слуг, ехавших за мной. Вот и все, теперь мы доехали до вашего дома.

III

Занони вошел за молодой неаполитанкой в ее дом; Джионетта исчезла. Они были одни. Одни в той комнате, которая в прежние счастливые дни так часто наполнялась капризными мелодиями Пизани; теперь Виола видела перед собой только таинственного иностранца, связанного с ее судьбой, прекрасного и величественного, стоявшего на том самом месте, где столько раз она садилась у ног своего отца, взволнованная и очарованная его игрой. Она была

почти уверена, имея обыкновение олицетворять воздушные мечты с помощью воображения, что дух музыки принял живую форму и стоял перед ней в лучезарном образе.

Она не создавала, как прекрасна была сама. Она сняла свою накидку и шляпу; ее волосы в беспорядке падали на ее ослепительно белые плечи, ее черные глаза были полны слез благодарности, а лицо еще горело от недавнего волнения. Никогда бог света и гармонии в своих рощах Аркадий не видел девы или нимфы более прекрасной.

Занони смотрел на нее взглядом, в котором восторг, казалось, смешивался с состраданием. Он сказал несколько слов про себя, а потом вслух обратился к ней:

– Виола! Я спас вас от большой опасности, не только от бесчестия, но, может быть, и от смерти. Князь N при этом деспотическом и корыстолюбивом правительстве ставит себя выше закона. Он способен на любое преступление. Если бы вы не согласились покориться ему, то вы могли быть уверены, что никогда уже не увидите свет Божий, чтобы рассказать вашу историю. У похитителя нет сердца для раскаяния, зато есть руки убийцы. Я вас спас, Виола! Вы, может быть, спросите меня, зачем?

Занони остановился на минуту и, грустно улыбнувшись, продолжал:

– Вы не оскорбите меня, подумав, что тот, который спас вас, такой же подлец, как тот, который вас оскорбил. Бедная сирота! Я не говорю с вами языком ваших поклонников; знайте только одно: что мне известна жалость и что я умею быть благодарным за привязанность и любовь. Зачем краснеть, зачем дрожать при этих словах? Я читаю в вашем сердце и не вижу ни одной мысли, которая бы могла заставить вас стыдиться. Я не говорю, что вы меня уже любите; воображение, к счастью, пробуждается раньше, чем сердце. Но мне было суждено омрачить ваши глаза, повлиять на вашу душу. Для того чтобы предупредить вас об опасности чувства, которое может причинить вам только страдания, – только для этого я пришел к вам. Англичанин Глиндон любит вас, может быть, больше, чем это дано мне.

Если он еще недостойн тебя, дай ему время узнать твой характер, и он, без сомнения, оценит тебя. Он может жениться на тебе, он может увезти тебя на свою свободную и счастливую родину, родину твоей матери. Не забывай его; заслужи его любовь, и я предсказываю, что ты будешь уважаема и счастлива.

Виола слушала с немим, невыразимым волнением; яркая краска разлилась по ее лицу. Когда Занони кончил говорить, она закрыла лицо обеими руками и заплакала. Однако, несмотря на все, что было раздражительного и оскорбительного в его словах, несмотря на стыд и негодование, которое он вызывал, не эти чувства переполнили ее сердце и заставили плакать. Женщина в эту минуту уступила место ребенку; и как ребенок со своим ненасытным и между тем невинным желаньем быть любимым плачет, безропотно страдая, когда отвергают его ласки, так без гнева и стыда плакала Виола.

Занони долго любовался ее грациозной головкой, покрытой роскошными волнами волос и склоненной перед ним; потом он подошел к ней и сказал тоном, исполненным глубокой нежности, и с полуулыбкой на устах:

– Помните, когда я советовал вам бороться за свет, я указал вам на это непобедимое дерево; я не сказал вам тогда, чтобы вы брали пример с бабочки, которая желала бы подняться до звезд и падает, опаленная факелом. Поговорим теперь... этот англичанин...

Виола отошла и заплакала еще сильнее.

– Этот англичанин ваших лет, и его происхождение не выше вашего. Вы можете с ним делить ваши мысли при жизни; вы можете заснуть в одной могиле, подле него! А я... Но эта перспектива не должна занимать вас. Посмотрите в ваше сердце, и вы увидите, что до той минуты, когда я снова появился на вашем пути, в вас уже зарождалась к этому иностранцу нежная и чистая привязанность, которая, созревая, превратилась бы в любовь. Разве вы никогда не представляли себе жилища, которое бы вам хотелось разделить с ним?

– Никогда! – отвечала Виола с внезапной энергией. – Никогда! Не такова моя судьба, я это чувствовала. И, – продолжала она, быстро вставая и обратив на Занони красноречивый взор, – и, кто бы ты ни был, что можешь так читать в моем сердце и предсказывать мою судьбу, тебе неизвестно чувство, которое... которое... – она колебалась с минуту, потом продолжала с опущенными глазами, – которое привлекло к тебе мои мысли. Не думай, чтобы я могла питать любовь, которая не была бы взаимной. Не любовь чувствую я к тебе, иностранец. Любовь? Почему?... В первый раз ты говорил со мной для того, чтобы предостеречь меня, сегодня ты говоришь для того, чтобы оскорбить меня.

Она снова остановилась, ее голос задрожал; слезы хлынули из глаз, но она вытерла их и продолжала:

– Любовь! О, нет! Если любовь походит на ту, которую мне описывали, или на ту, про которую я читала, или на ту, которую я старалась воспроизвести на сцене... в таком случае я чувствую к тебе только влечение, торжественное, страшное и, как мне кажется, почти сверхъестественное; когда я мечтаю или сплю, я невольно присоединяю тебя к моим видениям, исполненным прелести и в то же время ужаса. Если бы это была любовь, то неужели ты думаешь, я могла бы так говорить? Разве, – она вдруг подняла на него глаза, – я могла бы так смело глядеть тебе в глаза? Я прошу у тебя только позволения видеть тебя и слушать тебя иногда. Иностранец! Не говори мне о других... Остерегай меня, делай мне выговоры, разбивай мое сердце, отталкивай благодарность, которую оно предлагает тебе и которая достойна тебя, но не являйся ко мне постоянным предвестником страдания и горя. Я иногда видела тебя в своих мечтах, окруженного блестящими и чудными образами, с сияющим взглядом, сверкавшим небесной радостью, которая теперь не оживляет их. Иностранец! Ты спас меня, я благодарю тебя; я благословляю тебя! Неужели же ты оттолкнешь и это чувство?

При этих словах она скрестила руки на груди и опустилась перед ним на колени. Но в этом смиреннии не было ничего унижительного или противного достоинству ее пола; это не была покорность любовницы своему любовнику, рабыни своему господину; это было скорей повиновение ребенка матери, благоговение новообращенного к священнику.

Занони нахмурился и посмотрел на нее со странным выражением доброты, грусти и в то же время нежной привязанности; но его уста были суровы, а голос холоден, когда он отвечал:

– Знаете ли вы, Виола, чего вы у меня просите? Предвидите ли вы опасность, угрожающую вам, а может быть, и нам обоим, от того, чего вы от меня требуете? Знаете ли вы, что моя жизнь, удаленная от шумной толпы, есть только постоянное поклонение красоте, из которого я стараюсь изгнать чувство, которое прежде всего внушает красота? Я избегаю как бедствия того, что кажется человеку прекраснее всего в мире, – любви женщины. Сегодня мои советы могут спасти вас от многих несчастий; если я вас буду видеть дальше, сохраню ли я ту же власть? Вы меня не понимаете. То, что я скажу дальше, будет вам понятно. Я вам приказываю изгнать из вашего сердца всякую мысль, которая представляла бы меня в ваших глазах иначе, как человеком, которого вам необходимо избегать. Глиндон, если вы примете его благоговение, будет любить вас, пока могила не скроет вас обоих. Я тоже, – прибавил он с волнением, – я тоже мог бы любить тебя!

– Вы! – воскликнула Виола с внезапным порывом счастья и восторга, которого она не могла удержать.

Но минуту спустя она бы отдала все на свете, чтобы вернуть этот крик сердца.

– Да, Виола! Я тоже мог бы любить тебя! Но совсем другой любовью! Сколько страданий! Цветок, растущий на скале, окружает ее благоуханием. Еще немного, и цветок мертв, а скала по-прежнему стоит, покрытая снегом, и солнце по-прежнему освещает ее. Подумай об этом. Опасность постоянно окружает тебя. В продолжение нескольких дней ты еще можешь скрываться от преследователя, но приближается час, когда твое спасение будет только в бегстве. Если ты любима англичанином любовью, достойной тебя, то твое счастье будет ему так же

дорого, как его собственное. Если нет, есть еще место, где ты найдешь любовь, более почтительную, и добродетель, менее подвергающуюся опасности от силы и хитрости. Прощай, я могу видеть свою судьбу только сквозь неясный туман. Я знаю по крайней мере, что мы увидимся, но узнай теперь же, нежный цветок, что для твоего отдыха есть места менее грубые, чем скала.

Он встал и дошел до наружной двери, у которой молчаливо стояла Джионетта. Занони осторожно положил свою руку на ее плечо. Потом тоном беспечного кавалера сказал:

– Синьор Глиндон любит твою госпожу; он может жениться на ней. Я знаю твою преданность. Заставь ее отказаться от меня. Я же похож на перелетную птицу.

Он опустил в руку няньки кошелек и исчез.

IV

Дворец Занони находился в одном из кварталов, редко посещаемых. Его и теперь еще можно видеть, но уже в развалинах и с разрушенными стенами, как памятник великолепия рыцарства, давно исчезнувшего из Неаполя вместе с благородными сынами Нормандии и Испании.

При входе в комнаты, предназначенные для уединения, два индийца в национальных костюмах встретили Занони на пороге церемонными восточными поклонами. Он приехал с ними из далеких стран, где, если верить слухам, он жил в продолжение нескольких лет; но они не могли дать каких-либо сведений, которые удовлетворили бы любопытство и подтвердили подозрения. Они говорили только на своем родном языке.

За исключением этих слугителей, его поистине царская свита состояла из жителей города, сделавшихся благодаря его расточительной щедрости послушными и скромными орудиями его воли.

Как в доме, так и в привычках хозяина не было ничего, что бы могло подтвердить ходившие слухи. Он не был окружен, как рассказывали, воздушными, сверхъестественными существами Альберта Великого и Леонардо да Винчи; никакое бронзовое изображение, образец магической механики, не передавало ему влияния светил. У него не было, для объяснения его богатства, инструментов алхимика – ни тигля, ни металлов; он даже, казалось, и не интересовался тайными науками, которые являлись источником высоких идей и часто глубокого знания, которые были характерны для его разговоров. Ни одна книга не занимала его в одиночестве; и если он когда-либо и черпал из них свои познания, то теперь он читал лишь одну великую книгу природы, для всего остального у него не было другого источника, кроме обширной, чудесной памяти. Однако было одно исключение из этого общего правила.

В Риме, в Неаполе, всюду, где он жил, он выбирал в доме одну комнату и запирали ее замком, едва ли большим, чем кольцо, но достаточным, чтобы не поддаться усилиям самых искусных слесарей; по крайней мере один из его слуг, подталкиваемый страшным любопытством, напрасно старался открыть его; и, несмотря на то, что он выбрал для удовлетворения своего любопытства самую благоприятную минуту, когда ни одна душа не могла его видеть... в самый поздний час ночи... во время отсутствия Занони, однако суеверие или совесть не позволили ему на другой день спросить объяснения, когда мажордом уволил его от должности. Любопытный слуга утешал себя за неудачу тем, что рассказывал свою собственную историю, весьма приукрашенную. Он говорил, что, подходя к двери, почувствовал, как его схватили невидимые руки, старавшиеся удержать его, и что в ту минуту, как он тронул замок, он был поражен как бы параличом.

Один доктор, услышавший этот рассказ, заметил, к величайшему неудовольствию любителей чудесного, что, может быть, Занони ловко пользовался электричеством.

Как бы то ни было, но в эту комнату, таким образом запертую, никогда и никто не входил, кроме самого Занони.

Торжественный голос времени, раздавшийся на часах соседней церкви, вывел наконец владельца дворца из глубокой задумчивости, похожей скорее на транс, чем на размышление, в которую была погружена его душа.

– Еще одно зерно, упавшее с неизмеримой высоты, а между тем время не прибавляет и не отнимает у бесконечности ни одного атома! Душа моя, светлое существо! Зачем спускаешься ты из своей сферы? Зачем с высот вечного, звездного, чуждого спокойствия бросаешься ты в густой туман мрачного саркофага? Сколько времени, зная из тяжелого опыта, что все, что умирает, может дать только исполненную грустью радость, оставалась ты удовлетворенною твоим величественным одиночеством?

Пока он так размышлял, одна из птиц, которые первые приветствуют зарю, громко запела, и пробужденная пением ее подруга отвечала звучными трелями.

Он стал слушать; но не душа, которую он вопрошал, а сердце ответило ему. Он встал и беспокойными шагами стал быстро ходить по комнате.

– Да будет проклят этот свет! – воскликнул он нетерпеливо. – Время, должно быть, никогда не истребит эти роковые страсти! Одно тяготение поддерживает землю в пространстве; другое прикрепляет душу к земле. Отчего я не далеко от этой темной и мрачной планеты! Разбейтесь, препятствия! Крылья, развернитесь!

Он прошел через галерею, поднялся по лестнице и проник в таинственную комнату...

V

На другой день Глиндон отправился во дворец Занони. Воображение молодого человека было сильно возбуждено тем немногим, что он видел и слышал об этом странном человеке, к которому его влекло таинственное и непреодолимое чувство.

Могущество Занони казалось громадным и почти сверхъестественным, его намерения – прекрасными; а между тем его обращение было холодно.

Почему он игнорирует попытку Глиндона сойтись с ним и в то же время спасает его? Каким образом узнал Занони о неизвестных самому Глиндону врагах? Его любопытство было живо задето, он чувствовал благодарность и решился на новую попытку примирения с угрюмым тайноведом.

Занони был дома и принял Глиндона в обширной и высокой гостиной, в которую вошел вслед за ним.

– Я пришел поблагодарить вас за ваше вчерашнее предостережение, проговорил Глиндон, – и просить вас еще раз об одолжении, которым я вам обязан, – сообщить мне, с какой стороны я должен ждать опасности и нападений.

– Вы влюблены, сударь, – сказал по-английски Занони, слегка улыбаясь, но вы плохо знаете Юг; а не то вы знали бы, что здесь нет влюбленных, не имеющих соперников.

– Вы говорите серьезно? – спросил Глиндон, краснея.

– Совершенно серьезно. Вы любите Виолу Пизани, ваш соперник – один из неаполитанских князей, самых могущественных и неумолимых; вы сами видите, подвергаетесь ли вы опасности.

– Но простите меня, как вы узнали об этом?

– Нет ни одного смертного, которому бы я давал отчеты о самом себе, гордо ответил Занони. – Станете ли вы следовать моим советам или игнорировать их – это меня не касается.

– Ну, если я не должен спрашивать вас, пусть будет по-вашему; но по крайней мере посоветуйте мне, что нужно сделать?

– А вы последуете моему совету?

– Отчего же нет?

– Оттого, что вы храбры, вы любите волнения и тайны; вы захотите быть героем романа. Если бы я вам посоветовал покинуть Неаполь, сделали бы вы это, пока в нем существуют враг и женщина, над которыми вам хотелось бы одержать победу?

– Вы правы, – отвечал англичанин. – Нет, и не вам осуждать это решение.

– Но вам остается другое средство; любите ли вы Виолу искренно, пламенно? Если да, то женитесь на ней и увезите вашу жену на родину.

– Но, – возразил Глиндон, немного смущенный, – Виола не из моего круга. И потом, ее занятие... Одним словом, я раб ее красоты, но не могу жениться на ней.

Занони нахмурился.

– Значит, ваша любовь есть только эгоистическая и чувственная страсть, тогда я не могу вам дать совета. Молодой человек! Судьба не так неумолима, как кажется. Великий Властитель вселенной не отказал человеку в свободе, мы все можем проложить себе дорогу, а Бог даже из наших противоречий может создать гармонию. Вы имеете перед собой выбор. Благородная и великодушная любовь может даже теперь обеспечить ваше счастье и спасение; безумная и эгоистическая страсть приведет вас неминуемо к гибели.

– Вы читаете даже будущее?

– Я сказал все, что было нужно.

– Синьор Занони, вы, который берет на себя роль моралиста, – сказал Глиндон, – неужели вы сами так равнодушны к молодости и красоте, что можете уверенно сопротивляться их очарованию?

– Если бы пример постоянно согласовался с правилом, – отвечал Занони, горько улыбаясь, – то учителя были бы редки. Поведение человека может иметь влияние только на узкий круг; добро или зло, которое он делает другому, заключается скорей в правилах, которые он может распространять. Его действия ограничены во времени и пространстве; его идеи могут распространяться в целой вселенной и вдохновлять людей до последнего дня. Все наши добродетели, все наши законы извлечены из книг и правил, которые суть мысли, а не действия. Юлиан имел добродетели христианина, а Константин все пороки язычника. Поступки Юлиана вернули к язычеству несколько тысяч последователей, мысли Константина, волею небес, помогли обратить к христианству многие народы земного шара. В своем поведении самый скромный рыбак этого залива, с жаром верующий в чудеса святого Януария, может быть лучше Лютера; между тем Бог позволил, чтобы идеи Лютера произвели в новейшей Европе самую большую революцию, которая когда-либо имела место. Наши идеи, молодой человек, – это наш ангельский элемент, наши действия – земной элемент.

– Для итальянца вы много размышляли, – сказал Глиндон.

– Кто вам сказал, что я итальянец?

– Однако, когда вы говорите на моем языке, как англичанин, я...

– Довольно! – воскликнул Занони с сильным нетерпением.

Потом, после минутного молчания, он проговорил спокойным тоном:

– Глиндон, отказываетесь ли вы от Виолы Пизани? Хотите вы несколько дней подумать о том, что я вам сказал?

– Отказаться от нее! Никогда!

– Так вы хотите жениться на ней?

– Это невозможно.

– Хорошо. В таком случае она откажется от вас. Я вам говорю, что у вас есть соперник.

– Да, князь N, но я его не боюсь.

– У вас есть другой, которого вы будете больше бояться.

– Кто это?

– Я.

Глиндон побледнел и встал.

– Вы! Синьор Занони! Вы! И вы смеее мне признаваться в этом!

– Смею? Увы! Бывают минуты, когда мне хотелось бы бояться.

Эти высокомерные слова не имели, однако, ничего надменного, скорее в них звучало что-то печальное. Глиндон был раздражен, уничтожен, но находился под властью какого-то странного влияния. Однако у него было в груди честное сердце англичанина, и он скоро оправился.

– Синьор, – сказал он, – меня нельзя обмануть громкими фразами и мистическими приемами. Вы можете иметь могущество, которого я не сумею ни понять, ни достичь; но также можете быть только ловким и дерзким авантюристом и обманщиком.

– Ну! Продолжайте.

– Я хочу, – продолжал Глиндон решительно, хотя и немного смущенно, – я хочу, чтобы вы знали, что если я не позволю первому встречному убедить себя жениться на Виоле Пизани, то от этого мое решение никогда не уступать ее другому нисколько не уменьшится.

Занони гордо посмотрел на молодого человека, горевшие глаза и оживленное лицо которого указывали на его мужество и способность подкреплять свои слова делом. Потом он прибавил:

– Какая смелость! Но она к вам идет. Все равно, примите мой совет, подождите еще десять дней, и тогда вы мне скажете, хотите ли вы жениться на самой прекрасной, самой чистой девушке, которую вы когда-либо встречали.

– Но если вы ее любите, почему... Почему?..

– Почему я желаю, чтобы она вышла замуж за другого? Чтобы спасти ее от меня самого! Выслушайте меня. Этот ребенок, кроткий и без образования, имеет в себе зародыш благородных качеств и самых высоких добродетелей. Она может быть всем для человека, которого полюбит, всем, что только человек может видеть в женщине. Ее душа, развитая любовью, возвысит вашу, она повлияет на вашу будущность, на вашу судьбу; вы сделаетесь счастливым и знаменитым. Если же, наоборот, она будет моим достоянием, я не знаю, какая судьба ожидает ее, но я знаю, что есть испытание, которое переносится очень немногими мужчинами и до сих пор ни одной женщиной.

Говоря таким образом, Занони сильно побледнел, и в его голосе было что-то, отчего горячая кровь его собеседника застыла.

– Что это за тайна, окружающая вас? – спросил Глиндон, не будучи в состоянии удержать своего волнения. – Действительно, вы не похожи на других людей! Вы, может быть, как предполагают некоторые, маг или только...

– Замолчите! – проговорил Занони со странной улыбкой. – Разве вы имеете право задавать мне такие вопросы? Италия, правда, еще имеет инквизицию; но могущество ее ослабело, как лист, уносимый ветром. Дни пыток и гонений прошли; человек может жить, как ему нравится, и говорить, как ему хочется, не опасаясь ни позорного столба, ни казни. Я презираю гонения; поэтому простите меня, если я не уступаю любопытству.

Глиндон покраснел и встал. Несмотря на свою любовь к Виоле и естественный страх к такому сопернику, он чувствовал, что его тянуло к этому человеку, которого он имел основания подозревать и бояться более всех. Он протянул руку Занони.

– Ну, – проговорил он, – если мы должны быть соперниками, то оружие впоследствии решит наши права. До тех пор мне хотелось бы быть вашим другом.

– Другом! Вы не знаете, чего просите.

– Опять загадка!

– Загадка! – воскликнул с горячностью Занони. – Да, но не хотели бы вы разрешить ее? Только тогда я дам вам эту руку и назову вас своим другом.

– Я осмелюсь на все, я буду бороться со всем, чтобы достигнуть нечеловеческой мудрости, – отвечал Глиндон, и его лицо засветилось диким и экзальтированным восторгом.

Занони посмотрел на него молча и задумчиво.

– Семена деда живут и во внуке, – сказал он вполголоса, – однако он мог бы... – Он вдруг остановился, потом громко продолжил: – Ступайте, Глиндон, мы еще увидимся; но я спрошу у вас ответа только тогда, когда решение будет необходимо.

VI

Из всех слабостей, которые вызывают насмешки посредственных людей, нет ни одной, которую бы они поднимали более на смех, чем доверчивый ум; прибавим, что из всех признаков испорченного сердца и слабой головы стремление к неверию есть самый верный.

Истинная философия менее старается отрицать, чем понимать. Каждый день мы слышим, как многие ученые говорят о нелепости алхимии и мечтах о философском камне, между тем как ученые менее поверхностные знают, что именно алхимикам мы обязаны самыми великими открытиями, какие когда-либо были сделаны. И многие места, темные в настоящее время, могли бы, если бы у нас был ключ к мистическому языку, который мы находим в их трудах, навести нас на путь научных открытий, еще более драгоценных.

Философский камень и тот не казался химерическим видением некоторым из самых знаменитых химиков нашего века. Человек, конечно, не может оспаривать законы природы; но эти законы природы, все ли они открыты? «Дайте мне доказательство вашего искусства, – сказал один истинный философ, – когда я увижу действие, я постараюсь по крайней мере найти причину».

Таковы приблизительно были мысли Глиндона, когда он выходил от Занони, но Кларенс Глиндон был истинный философ. Чем разговор с Занони делался таинственнее, тем он был более поражен. Против чего-нибудь осязательного он постарался бы бороться, и любопытство его, может быть, было бы удовлетворено. Напрасно по временам он старался укрыться в скептицизм, которого сам опасался, напрасно старался он объяснить то, что слышал, искусством обманщика. Какими бы ни были его притязания, Занони не делал из них, как Месмер или Калиостро, источника для наживы. К тому же положение Глиндона не было так высоко, чтоб влияние, приобретенное над его умом, могло бы служить планам алчности или честолубия. Однако иногда с подозрительностью, свойственной светским людям, он старался уверить себя, что Занони имел по крайней мере какую-нибудь темную цель довести его до того, на что в своей гордости англичанина он смотрел как на неравный брак с бедной Виолой. Разве нельзя было допустить, что она находится в сношениях с этой таинственной личностью? Может быть, весь этот пророческий и угрожающий тон был только хитростью, чтобы провести его. Он сердился на Виолу за то, что у нее был такой союзник. Но к этому чувству присоединялась еще естественная ревность.

Занони угрожал ему своим соперничеством. Занони, который, оставляя в стороне его тайные искусства и роль, которую ему приписывали, располагал по крайней мере всеми преимуществами, которые ослепляют и поработщают. Утомленный своими сомнениями, Глиндон бросился в тот светский круг, с которым познакомился в Неаполе, преимущественно состоявший из художников, как он сам, литераторов и богатых негоциантов, которые, лишенные привилегий дворянства, старались по крайней мере превзойти его великолепием. Он узнал от них множество подробностей насчет Занони, который был для них, как для всех праздных умов, предметом любопытства и предположений.

Он с удивлением заметил, что Занони разговаривал с ним по-английски с такой удивительной легкостью, что его можно было принять за англичанина. Глиндон узнал, что то же самое впечатление он производил на людей других национальностей. Один шведский живописец утверждал, что Занони швед, а один негоциант из Константинополя, который продавал ему свой товар, был убежден, что только турок или по крайней мере родившийся на Востоке мог так совершенно перенять мягкий азиатский выговор. Между тем во всех этих языках была

легкая и почти невоспроизводимая особенность, не в произношении и не в выговоре, но в интонации, которая отличала Занони от туземцев тех стран, на языке которых он говорил.

Эта особенность была характерна для членов одного общества, правила и власть которого были недостаточно знакомы людям, – общества Розенкрейцеров. Глиндон вспомнил, что, будучи в Германии, он слышал о произведении Жана Брингерста¹⁰, утверждающем, что все языки земного шара были известны этому обществу. Не принадлежал ли Занони к этому мистическому обществу, которое в более отдаленное время славилось тем, что владело тайнами, из которых философский камень был самой незначительной, которое считало себя хранителями тайн халдеев, волхвов, гимнософистов и неоплатоников и которое отличалось от всех других школ добродетелью, чистотой своих правил, в основании которых были контроль над чувствами и сильная вера. Славная секта, если она говорила правду!

И действительно, если Занони имел преимущество над всеми обыкновенными мудрецами, то нужно признаться, что он употреблял его соответственно своему могуществу. Все, кто знал про его жизнь, свидетельствовали в его пользу. Говорили не о его щедрости, но о его рассудительной благотворительности.

Каждый раз, вспоминая о нем, рассказчики качали головой и спрашивали с удивлением, каким образом иностранец мог владеть такими подробными сведениями о темных и тайных недугах, которым помогал. Двое или трое больных, оставленные всеми докторами, приходили к нему за советами и получили от него тайную помощь. Они поправились и приписывали ему свое выздоровление, а между тем они не могли сказать, с помощью каких лекарств были спасены. Все, что они могли засвидетельствовать, – это то, что они к нему пришли, они с ним говорили и что к ним возвращалось здоровье обыкновенно после долгого и глубокого сна. Отметим еще и другое обстоятельство, которое можно было поставить ему в заслугу. Те, которые обыкновенно составляли его общество – легкомысленная и беспутная молодежь, грешники и мытари большого света, – все они быстро и незаметно обращали свои сердца к более чистым мыслям и к более порядочной жизни.

Сам Цетокса, король любовных похаживаний, дуэлей и игры, не походил на самого себя с той самой ночи, происшествия которой он рассказывал Глиндону. Первый признак его превращения выразился в том, что он перестал посещать игорные дома; второй – в его примирении с наследственным врагом его семьи, которого он в продолжение шести лет старался вовлечь в ссору, которая бы кончилась смертью противника.

Когда Цетокса и его молодые товарищи говорили о Занони, то казалось, что эта перемена не была произведена увещаниями или предостережениями, более или менее строгими. Все представляли его как любителя удовольствий, не всегда веселого, но всегда в спокойном расположении духа, всегда готового слушать разговоры других, как бы они ни были незначительны, или восхищать всех неистощимыми блестящими анекдотами и рассказами о жизни. Все обычаи, все нации, все слои общества были ему знакомы. Он был чрезвычайно скрытен только тогда, когда делали намеки на его происхождение или его прошлое. Общее мнение насчет первого из этих двух пунктов казалось и самым правдоподобным.

Его богатство, познания в восточных языках, его пребывание в Индии, некоторая серьезность, никогда не покидавшая его даже в самые веселые минуты, блеск его черных глаз и черных волос и даже особенности сложения, тонкость рук, арабский контур благородной головы – все, казалось, выдавало в нем дитя Востока; наконец, один знаток семитских языков перевел даже имя Занони, носимое в прошлом столетии одним безобидным натуралистом Болоньи.

Zan было халдейское название солнца. Греки, постоянно искажавшие все восточные имена, сохранили этимологию в этом исключительном случае. Zan или Zauв встречается у сидонийцев, восходит к On Zaponas, почитание которого связано с Сидоном, и есть не что иное,

¹⁰ Изданном в 1615 году.

как Адонис. Мерваль слушал с глубоким вниманием это ученое объяснение происхождения имени и заметил, что он готов сообщить слушателям открытие, сделанное им очень давно: многочисленное английское семейство Smith происходит от одного фригийского жреца Аполлона. Действительно, разве во Фригии не звали Аполлона Sminthee? Постепенные изменения величественного имени очевидны: Sminhee, Smithee, Smith. И заметьте, сказал он, даже теперь самая древняя ветвь этого знаменитого имени, чтобы быть ближе к предкам, с особенным удовольствием подписывается Smithe.

Знаток семитских языков был восхищен этим открытием и просил Мерваля позволить ему сделать заметку по поводу этого драгоценного доказательства в своем труде о происхождении языков. Произведение это под заглавием «Вавилон» (Столпотворение вавилонское как начало языков) должно было появиться по подписке в трех томах в четвертую долю листа.

VII

Все, что Глиндон мог разузнать о Занони, на прогулках или в посещаемых им местах, не удовлетворяло его...

В этот вечер Виола не играла, а на другой день, преследуемый беспокойными мыслями и не чувствуя охоты к обществу такого положительного и скептического человека, как Мерваль, Глиндон один отправился в городской сад и остановился именно под тем деревом, где в первый раз он услышал голос, произведший на его душу странное и незабываемое впечатление. В саду не было никого; он сел на одну из скамеек в тени и еще раз, глубоко задумавшись, почувствовал, как его охватил ледяной ужас, который Занони так верно описал и которому он приписал необыкновенную причину.

Он быстро встал и задрожал, увидав подле себя личность достаточно отвратительную, чтобы быть воплощением одного из тех зловредных существ, о которых говорил Занони.

Это был маленький человек, одежда которого особенно разнилась от моды того времени. Какая-то нарочитость и почти бедность отличала широкие панталоны из грубого холста, шерстяную куртку, дырки которой казались сделанными нарочно, и черные неопрятные волосы, торчавшие из-под шерстяной фуражки. Все это никак не согласовалось с относительной роскошью булавки с драгоценными камнями, которая была приколоты у ворота его рубашки, и видневшимися из-под куртки двумя тяжелыми золотыми цепями, заканчивавшимися золотыми же часами. Наружность этого типа была если не безобразна, то по крайней мере неприятна. Его плечи были широки и квадратны; грудь плоска и как бы раздавлена; его голые руки с узловатыми суставами уродливо висели. Черты его лица были непропорциональны и искажены, как у человека, разбитого параличом; нос почти касался подбородка; маленькие глаза блестели злым огнем, а рот, скривленный в гримасу, выставлял два ряда неправильных, черных и редких зубов. Но это отталкивающее лицо являло еще неприятную, лукавую и смелую проницательность.

Глиндон, оправившись от первого впечатления, снова посмотрел на своего соседа и устыдился своего страха, узнав в нем французского живописца, с коим был прежде знаком, одаренного талантом, который невозможно было презирать. Этот человек, чья наружность была так безобразна, постоянно выбирал для своих картин сюжеты величественные и возвышенные. Его краски казались примитивными и расплывчатыми, что составляло особенность французской школы того времени, но рисунки отличались симметрией, простотой и классической силой, хотя им и недоставало идеальной грации. Он выбирал свои сюжеты больше из римской истории, чем из щедрого мира греческой красоты или из тех величественных рассказов Святого Писания, в которых Рафаэль и Микеланджело черпали свое вдохновение. Величие он выражал не через божественные существа и святых, а изображая простых смертных.

Его тип красоты был таков, что его нельзя было осуждать, но душа не могла признать его. Одним словом, это был антропограф, или живописец людей. Другое противоречие в этой личности, предававшейся с безумной неводержанностью всем страстям, неумолимой в мести, ненасытной в распутстве, состояло в том, что он имел привычку проповедовать самые прекрасные правила возвышенной чистоты и щедрой филантропии; свет не был к нему добр, сам же он играл роль его наставника. Однако он как будто сам смеялся над правилами, которые проповедовал, точно хотел дать понять, что он выше того света, который хотел бы исправить. Наконец, этот живописец имел обширную корреспонденцию с республиканцами Парижа; на него смотрели как на одного из тех лазутчиков, которых, с первого же периода революции, преобразователи человечества хотели послать в различные государства, находящиеся в оковах тирании или законов. В целом государстве, как заметил историк Италии¹¹, не было города, где бы новые учения встретили такой благосклонный прием, как в Неаполе, частью благодаря подвижному характеру народа, но в особенности благодаря наиболее ненавистным привилегиям феодального права, еще существовавшим там, несмотря на недавние и смелые реформы Танучини. Ежедневные злоупотребления, пережившие эти умные меры, давали обильную пищу для всех жаждавших перемен и особенную силу проповедникам этих перемен.

Поэтому живописец, которого я буду звать Жаном Нико, был оракулом для самых молодых и пылких умов Неаполя; и Глиндон, раньше чем узнать Занони, был не из последних, восхищавшихся красноречивыми теориями гнусного филантропа.

– Мы уже так давно не встречались с вами, дорогой собрат, – сказал Нико, подходя к Глиндону, – что вы не удивитесь, узнав, что я очень рад увидеть вас снова и даже прерываю вашу задумчивость.

– Она не имела ничего приятного, – отвечал Глиндон, – и я очень рад, что вы прервали ее.

– Вы будете счастливы узнать, – сказал Нико, вынимая из кармана несколько писем, – что наше великое дело быстро продвигается. Мирабо нет больше, это правда. Но, черт возьми, теперь все французы Мирабо!

Сказав это, он стал читать и объяснять некоторые восторженные и интересные места, в которых слово «добродетель» встречалось двадцать семь раз. Потом, разгоряченный блестящей перспективой, которая открывалась перед ним, он пустился в рассуждения и преждевременные мечты о будущем, о которых мы уже немного слышали из разговора Кондорсе. Все старые добродетели были низложены ради нового Пантеона. Патриотизм стал чувством узким, филантропия должна была заменить его.

Никакая любовь, которая не охватывала бы все человечество и не была бы одинаково пылкой к индусу, к поляку, равно как и к семейному очагу, не могла считаться достойной великодушного сердца. Мнения должны были быть так же свободны, как воздух; и чтобы достичь этого прекрасного результата, было необходимо начать с истребления всех тех, мнения которых не сходились с мнениями господина Жана Нико.

Во всем этом было много такого, что могло занимать Глиндона, но еще больше такого, что ему было противно. Тем не менее, когда живописец стал говорить о науке, которую все понимали бы, науке, рожденной на почве равенства в учреждениях и равенства в просвещении, которая дала бы всем народам богатство без труда и жизнь более продолжительную, чем жизнь патриархов, и избавленную от всякой заботы, тогда Глиндон принялся слушать со вниманием и восторгом, смешанным с некоторым уважением.

– Заметьте, – говорил Нико, – как много из того, что мы автоматически воспринимаем как добродетели, будет тогда отброшено как слабости.

– А до тех пор, – проговорил кто-то очень тихо подле них, – а до тех пор, Жан Нико?

¹¹ Ботта.

Оба художника вздрогнули, и Глиндон узнал Занони. Устремленный на Нико взгляд сделался еще строже, чем обыкновенно; этот последний присел на месте, бросил косой взгляд, и выражение испуга и ужаса отразилось на его отвратительном лице.

Жан Нико, ты, который не боишься ни Бога, ни дьявола, почему боишься ты человеческого взгляда?

– Не в первый раз слышу я, как вы проповедуете ваши воззрения на слабость, которую мы называем благодарностью, – проговорил Занони.

Нико посмотрел на Занони мрачным и зловещим взглядом, полным бессильной и неукротимой ненависти, и отвечал:

– Не знаю... не знаю, право, что вам нужно от меня.

– Вашего отсутствия. Оставьте нас.

Нико вскочил со сжатыми кулаками, оскалив все зубы, как разъяренный, дикий зверь. Занони, стоя неподвижно, посмотрел на него с презрительной улыбкой. Нико замер на месте, как будто этот взгляд пронзил его насквозь; он задрожал всем телом, потом неохотно удалился быстрыми шагами.

Удивленный Глиндон следил за ним взглядом.

– Что вы знаете об этом человеке? – спросил Занони.

– Я знал его, когда он, как и я, искал свой путь в искусстве.

– Искусство! Не оскверняйте таким образом это слово. Что природа есть для Бога, тем искусство должно быть для человека, творение высокое, плодотворное, вдохновенное! Этот негодяй может быть живописцем, но художником – никогда!

– Простите меня, если я, в свою очередь, спрошу у вас, что вы знаете о человеке, о котором вы отзываетесь так неблагосклонно.

– Я знаю только то, что вы находитесь под моим покровительством и мне необходимо предостеречь вас от него. Один его вид достаточно указывает на всю грязь его души. Зачем я вам буду перечислять преступления, которые он совершил? Его речи уже есть преступление.

– Кажется, синьор Занони, вы не можете считаться поклонником наступающей революции. Может быть, вы предубеждены против него, потому что не разделяете его мнений.

– Каких мнений?

Глиндон затруднился с ответом; наконец он проговорил:

– Но нет, я несправедлив!.. Так как вы менее, чем кто-либо, можете быть врагом этого учения, проповедующего бесконечное совершенствование человеческого рода.

– Вы правы: во все времена совершенствует толпу меньшинство. Может случиться, что толпа будет так же умна, как прежде было одно меньшинство; но если вы мне скажете, что толпа так же умна, как умно теперь меньшинство, то можно считать, что с прогрессом покончено.

– Я понимаю вас: вы не допускаете закона всемирного равенства.

– Закона! Если целый свет составит заговор, чтобы навязать эту ложь, то и тогда она не станет законом. Уравняйте сегодня все условия, и вы устраните препятствия для завтрашней тирании. Народ, мечтающий о равенстве, недостоин свободы. В целом мире, начиная с ангела и кончая червяком, от Олимпа до песчинки, от яркого светила до туманности, которая, сгустившись за зоны в туман и грязь, становится обитаемым миром, первый закон природы есть неравенство. Что касается неравенства в социальной жизни, то будем надеяться, что оно будет преодолено, но что касается неравенства морального и умственного – никогда! Всемирное равенство понятий, души, гения, добродетели! Не оставить людей более умных, лучших, чем другие! Если бы это даже и не было невозможным условием, то какая безнадежная перспектива для человечества! Нет, пока свет будет существовать, солнце всегда будет освещать сначала вершину горы, а потом уже равнину. Сделайте сегодня всех людей одинаково учеными, и завтра одни будут учение, чем другие. Это закон любви, закон истинного прогресса. Чем в одном поколении меньшинство умнее, тем в следующем поколении будет умнее большинство.

Во время этого разговора они проходили по цветущим садам, и залив во всей своей красоте развевался перед ними, сверкая на солнце. В чистоте неба было что-то прельщавшее чувства, на душе среди этой прозрачной атмосферы становилось как будто легче и светлее.

– А эти люди, начиная свою эру прогресса и равенства, завидуют даже Создателю! Они хотели бы отрицать существование разума и Бога! – сказал Занони почти невольно. – Вы художник, а между тем вы спокойно слушаете подобные речи! Между Богом и гением существует неизбежная связь, их язык почти одинаков. Последователь Пифагора прав, говоря, что хороший разум есть хор богов.

Пораженный и тронутый этими мыслями, не ожидая их услышать от человека, в коем предполагал могущество, приписываемое суеверным ребячеством народа существам, враждебным планам Провидения, Глиндон проговорил:

– А между тем вы признались, что ваше существование, отличное от существования других, должно быть для человека предметом ужаса. Разве есть какая-нибудь связь между магией и религией?

– Магия! Что такое магия? Когда путешественник останавливается перед разрушенными дворцами и храмами Персии, невежественные жители говорят ему, что это памятники творчества магов. Невежда не может понять, что у других может быть могущество, которого у него нет. Но если магией вы считаете изучение всех тайн природы, в таком случае я занимаюсь магией; а тот, кто занимается ею, только еще больше приближается к источнику веры. Разве вы не знаете, что в школах древности преподавали магию? Каким образом и кто? Это были последние уроки самих служителей храма. И вы, который желает быть художником, разве вы не находите, что и это искусство имеет свое волшебство? Разве вы не должны, изучив красоту прошедшего, стремиться к новому идеалу? Разве вы не знаете, что как поэт, так и художник в своем искусстве стремятся к истине и презирают действительность, что надо подчинить себе природу, а не быть ее рабом? Разве истинное искусство не покорило себе будущее и прошедшее? Вы хотели бы вызывать невидимые существа; а что такое живопись, как не осуществление невидимого? Разве вы недовольны этим миром? Окружающий нас мир никогда не был создан для гения; чтобы существовать, он должен создать себе новый. Какой маг может сделать больше своей наукой? Кто может достигнуть этого? Чтобы спастись от мелких страстей и ужасных бедствий света, существует два пути, оба ведут к небесам и удаляют от ада: искусство и наука; но искусство божественнее науки: наука делает открытия, искусство создает. Вы имеете способности, которые могут приблизить вас к искусству, будьте же довольны вашим жребием. Астроном, считающий звезды, не может прибавить ни одного атома ко вселенной; поэт из одного атома может создать вселенную. Химик своими составами может вылечить немощи человеческого тела. Живописец, скульптор может дать обоготворенному телу вечную молодость, которую ни болезнь, ни время не могут изменить. Откажитесь от мечтаний вашего непостоянного воображения, влекущих вас то ко мне, то к Жану Нико: он и я – мы два противоположных полюса. Ваша кисть есть волшебный жезл, вы можете произвести на полотне более прекрасные утопии, чем все те, о которых мечтает Кондорсе. Я еще не спрашиваю у вас вашего решения; но какой гений требовал чего-либо другого, кроме любви и славы?

– Но, – прервал Глиндон, устремив на Занони взгляд, – что, если бы существовало могущество, которое могло бы презирать даже смерть?

Занони нахмурился.

– Если бы оно и существовало, – сказал он после минутного молчания, то разве это такая сладкая судьба – пережить все, что любишь, и чувствовать, как в душе разрываются все человеческие связи? Может быть, лучшее бессмертие на земле есть бессмертие великого имени.

– Вы мне не отвечаете, вы уклоняетесь от моего вопроса. Я читал рассказы о существовании, продолжавшихся за обыкновенные пределы человеческой жизни, и об алхимиках, кото-

рые пользовались этой исключительной долговечностью. Разве эликсир жизни – это только сказка?

– Если не сказка и эти люди знали его, то они умерли, потому что не хотели жить дольше. В вашем предположении есть, может быть, зловещее предостережение. Вернитесь к вашей кисти и палитре!

При этих словах Занони сделал рукой жест прощания и медленными шагами, с опущенной головой повернул к городу.

VIII

Последний разговор с Занони произвел на успокоенную душу Глиндона благотворное впечатление. Из неясного тумана его воображения снова начали формироваться счастливые, светлые мысли, устремленные к искусству. К этим мыслям присоединялось также видение более чистой любви, чем та, которую он испытывал до тех пор. Его душа вернулась к наивному младенчеству гения, когда запретный плод еще не был отведан.

Мало-помалу перед ним начали проходить сцены домашней жизни, оживленной волнениями искусства и счастьем любви Виолы. Но от этих мечтаний о будущности, которая могла сделаться его уделом, его возвратил к действительности чистый и сильный голос Мерваля, человека вполне практического.

Нельзя изучать характеры, в которых воображение сильнее воли, которые не доверяют знанию реальной жизни и которые отдают себе отчет, как они чувствительны к малейшим впечатлениям, не проследив, какое влияние имеет на такие характеры простой чистый и здоровый ум. Так было и с Глиндоном. Его друг часто спасал его от опасности и последствий его неосторожности; даже в голосе Мерваля было что-то, такое, что охлаждало энтузиазм Глиндона и заставляло его стыдиться более своих поэтических порывов, чем своих недостатков, так как Мерваль, человек глубоко честный, не симпатизировал никаким крайностям и эксцентричностям. Он шел в жизни по проложенной дороге и чувствовал глубокое презрение к тому, кто карабкался на гору, преследуя бабочку или только для того, чтобы посмотреть оттуда на океан.

– Я вам скажу, о чем вы думаете, Кларенс, и не будучи Занони, – смеясь, сказал Мерваль. – Я узнаю это по вашим глазам и полуулыбке. Вы мечтаете о прекрасной волшебнице, о маленькой певице Сан-Карло.

– Маленькая певица Сан-Карло! – повторил Глиндон, краснея. – Стали бы вы говорить о ней так, если бы она была моей женой?

– Нет, тогда все презрение, которое я осмелюсь чувствовать к ней, падет на вас. Тех, кто обманывает других, не любят, но обманутых – презирают.

– Уверены ли вы в том, что я буду обманутым в этом союзе? Где найду я столько красоты и невинности? Женщину, добродетель которой испытана столькими искушениями? Ни малейшая клевета не осмелится очернить имени Виолы Пизани!

– Я не знаю всех сплетен Неаполя и потому не могу отвечать вам, но вот что я превосходно знаю: в Англии нет ни одного человека, который мог бы подумать, что молодой англичанин благородного происхождения женится на неаполитанской певице. Подумайте, сколько оскорблений нанесет вам толпа молодых людей, которые наводнят ваш дом, все молодые женщины, которые станут избегать ее.

– Я свободен выбрать себе карьеру, которая могла бы обойтись без банального общества. Я могу быть обязанным своему искусству уважением света, вместо того чтобы быть обязанным этим уважением случайным обстоятельствам рождения и состояния.

– Это будет означать, что вы упорствуете в своем безумии пачкать полотно. Не дай Бог, чтобы я стал порицать занятия этим искусством того, кто выбрал эту профессию для поддержания своего существования! Но со средствами и связями, обещающими вам такую прекрас-

ную будущность, зачем вам добровольно опускаться до скромного положения художника? Как развлечение ничего не может быть лучше живописи; но как серьезное занятие в жизни это безумие, говорю я вам.

– Есть художники, у которых и князья ходят в друзьях.

– Это редко встречалось в нашей практической стране. Англия – страна здравого смысла. Там, в центре политической аристократии, уважают действительность, а не идеал. Вот, например, позвольте мне представить вам две картины. Кларенс Глиндон возвращается в Англию; он женится на женщине, состояние которой равняется его состоянию, друзья и родные которой не могут унижить его. Кларенс Глиндон, богатый и уважаемый, полный таланта и энергии, которая имеет цель, вступает в практическую жизнь. У него есть дом, где он принимает всех тех, чье общество может принести ему счастье и пользу; у него есть свободное время, которое он может посвящать полезным наукам; его репутация, твердо обоснованная, все больше упрочняется. Он вступает в политическую жизнь; его познания облегчают исполнение его планов. Кем будет примерно к сорока пяти годам Кларенс Глиндон? Вы честолюбивы, я предоставляю вам самому решить этот вопрос. Это первая картина; теперь представьте вторую. Кларенс Глиндон возвращается в Англию с женой, которая может давать ему деньги только с условием принять ангажемент в театре, с женщиной такой прекрасной, что всякий спешит узнать, кто она такая, и каждый получает ответ: «Это знаменитая певица Пизани». Кларенс Глиндон запирается, чтобы готовить краски и писать на исторические сюжеты огромные полотна, которые никто не покупает. Все настроены против него: он не учился в академии, он только любитель.

«Кто это такой, Кларенс Глиндон?» – «Ах да, это муж знаменитой Пизани!» – «Но еще кто?» – «Это человек, выставяющий большие картины». – «Бедняга! Они, конечно, не лишены достоинств, но картины Теньера и Ватто гораздо лучше и почти так же дешевы».

Кларенсу Глиндону, состояние которого до женитьбы было велико, а теперь, когда он женился, не увеличивается, еле хватает на воспитание его детей с такими же плебейскими званиями, как и у него. Он едет в деревню, чтобы жить экономно и больше писать; он не заботится о себе и становится угрюмым. Свет не ценит его, и он избегает света. Чем будет Кларенс Глиндон в сорок пять лет? Еще вопрос, который я предоставляю решить вашему честолюбию.

– Если бы весь свет был так же положителен, как вы, – сказал Глиндон, вставая, – тогда не было бы ни художников, ни артистов, ни поэтов.

– Может быть, и без них обошлись бы превосходно, – отвечал Мерваль. Но теперь время подумать об обеде, не правда ли?

IX

Учитель без убеждений унижает и портит вкус своего ученика, обращая его внимание на то, что он ошибочно называет естественностью и что в действительности есть только тривиальность. Он не понимает, что красота создана тем, что Рафаэль так верно определяет, говоря: идея прекрасного запечатлена в душе самого художника, и во всяком искусстве, будет ли его содержание передано словами или мрамором, в красках или в звуках, буквальное подражание природе есть удел поденщика и новичка. Точно так же поведение практического и положительного человека искажает и охлаждает благородный энтузиазм образованных натур, подавляя все, что великодушно, и превознося все, что банально и грубо.

Великий немецкий поэт хорошо описал разницу, существующую между осторожностью и мудростью. В последней есть смелость порыва и вдохновения, которой первая не признает.

Близорукий видит только исчезающий берег, а не тот, к которому несет его смелая волна.

Однако в логике осторожных и практических людей есть рассуждения, против которых не всегда легко возражать.

Нужно иметь глубокую, непоколебимую и горячую веру во все самоотверженное и божественное в религии, в искусстве, в славе, любви; иначе все тривиальное отвратит вас от преданности и унижит все, что есть в мире высокого и божественного.

Все истинные критики, начиная с Аристотеля и Плиния, Винкельмана и Вазари и кончая Рейнoldsом и Фузели, повторяли художнику, что природе надо не подражать, а идеализировать ее, что самое возвышенное искусство есть непрерывная борьба человечества, чтобы приблизиться к Божеству. Великий живописец, как и великий поэт, выражает то, что возможно человеку, но в то же время несвойственно человеческому роду.

Вообще истина есть в Гамлете, в Макбете и его ведьмах, в Дездемоне, в Отелло, в Просперио, в Калибане, истина есть в картине Рафаэля, в Аполлоне, в Антигоне, в Лаокооне. Но ни на Оксфорд-стрит, ни в Булонском лесу вы не встретите этих прообразов.

Все эти творения, говоря словами Рафаэля, рождаются из идеи, которую художник носит в своей душе. Эта идея не врожденна, она есть плод положительного и серьезного изучения идеала, который может отделиться от реальной действительности и возвыситься до великого и прекрасного. Самая простая модель возбуждает вдохновение художника, который имеет этот идеал; для человека же, не имеющего его, Венера превращается в обыденную вещь.

У Гвидо спрашивали, где он берет свои модели. Он позвал носильщика и по этой простой и грубой модели нарисовал голову неподражаемой красоты. Она походила на оригинал, но идеализированный носильщик сделался полубогом. Она была верна, но не была действительна.

Критики говорят, что «крестьянин» Теньера ближе к природе, чем «носильщик» Гвидо! Толпа редко понимает истоки идеала: возвышенное искусство понимается лишь развитым вкусом.

Но возвратимся к нашему сравнению. Этот принцип сходства еще менее понимают в обыденной жизни. Советы практической мудрости чаще сводятся к тому, чтобы внушить вам опасения перед добродетелями, чем подвергнуть наказанию порок; в жизни, как и в искусстве, существует тем не менее идея великого и прекрасного, и поэтому следует возвышать и облагораживать все, что жизнь имеет простого и низкого.

Глиндон понял всю холодную осторожность рассуждений Мерваля и внутренне не соглашался с картиной, что нарисовал его друг, с теми последствиями, к которым должны были привести его талант и истинная страсть. Но ведь они, он чувствовал это в своей душе, верно направленные, могли бы очистить все его существо, как гроза очищает воздух.

И если он не мог решиться начать действовать вопреки благоразумному рассуждению его друга, то еще менее мог он отказаться от Виолы.

Опасаясь влияния советов Занони и советов своего собственного сердца, он избегал в продолжение двух дней свидания с певицей. Но после его последнего разговора с Занони и Мервалем последовала ночь, полная таких ясных снов, что они казались пророческими; они так согласовались со всем тем, что говорил ему Занони, что он мог подумать, будто сам Занони посылал их.

На другой день утром он решил увидеть еще раз Виолу и без определенной цели, без плана поддался влечению своего сердца.

Х

Виола сидела на пороге. Перед ней вода залива казалась спящей в объятиях берега; направо от нее возвышались темные скалы с тенистыми розами на могиле Вергилия, посетить которую путешественники обычно считают своим непереманным долгом.

Несколько рыбаков бродили по склонам или развешивали свои сети, а в отдалении звуки диких свирелей вместе со звонами колокольчиков ленивых мулов прерывали приятную тишину.

Нет, нужно прочувствовать эту прелесть, чтобы понять смысл *dolce far niente*¹²; и когда вы узнаете это наслаждение, когда вы подышите атмосферой этой волшебной земли, тогда вы не будете спрашивать себя, отчего сердце так скоро согревается и дает такой богатый плод под светлым небом и солнцем Юга.

Глаза артистки были устремлены на обширную поверхность лазури. Некоторая небрежность ее туалета гармонировала с ее задумчивым видом. Волосы были кое-как собраны под шелковым платком, светлые краски которого придавали новый блеск золотистым роскошным локонам. Один отделившийся локон падал на грациозную шейку. На ней было широкое утреннее платье, стянутое кушаком; маленькая туфелька, достойная ножки Сандрильоны¹³, казалась слишком большой для ее ноги. Может быть, дневной жар придавал более живой колорит нежной свежести ее лица и непривычный блеск ее огромным черным глазам. Но никогда, во всей пышности своего театрального костюма, Виола не казалась такой прекрасной, как сейчас. Подле нее стояла на пороге Джионетта.

– Но я вас уверяю, – говорила кормилица отрывистым голосом, – уверяю вас, моя дорогая, что в целом Неаполе нет мужчины более изящного и приятного, чем этот англичанин, а мне говорили, что англичане все гораздо богаче, чем кажутся. У них нет деревьев в их стране, это правда, – бедняжки! – и вместо двадцати четырех часов у них только двенадцать; но зато они делают подковы для своих лошадей из эскудо¹⁴, и, не имея возможности – бедные еретики – превращать виноград в вино, так как у них нет винограда, они превращают золото в лекарство и принимают один или два стакана пистолей¹⁵, как мне говорили, каждый раз, как чувствуют боль в животе... Но вы меня не слушаете, моя дорогая, вы меня не слушаете.

– Вот какие слухи ходят насчет Занони! – прошептала Виола, не обращая внимания на похвалы, расточаемые Джионеттой Глиндону и всем англичанам вообще.

– Святая Дева Мария! Не говорите про этого страшного Занони. Вы можете быть уверены, что его прекрасное лицо, так же как и пистолы, есть дело чародейства. Я смотрю каждые четверть часа на деньги, которые он мне дал, чтобы удостовериться, что они не превратились в камни.

– Неужели ты действительно веришь, – спросила Виола робко, – что волшебство существует еще?

– Верю ли я?! Спросите меня, верю ли я в святого Эскудо. Каким же образом, думаете вы, вылечил он старого рыбака Филиппе, которого доктора приговорили к смерти? Каким образом мог он жить по крайней мере триста лет? Каким образом может он одним взглядом выражать свою волю?

– Как! Это все волшебство? Похоже на то; должно быть, это так, прошептала Виола, страшно побледнев.

Джионетта не была более суеверна, чем дочь бедного Гаэтано; в своей невинности, пораженная странным волнением девственной страсти, Виола могла приписывать ее магии, между тем как сердца более опытные объяснили бы это любовью.

– И потом, почему этот князь N так испугался его? Почему он перестал надоедать нам? Разве во всем этом нет колдовства?

– Так ты думаешь, – сказала Виола, – что мы обязаны ему этим спокойствием и безопасностью, которыми мы пользуемся? О! Не разубеждай меня! Молчи, Джионетта! Почему у меня нет советника, кроме своего собственного страха и тебя? Могущественное и светлое солнце, ты

¹² Блаженное безделье (итал.) – состояние сонного, ленивого полубытья на лоне ласковой южной природы.

¹³ Героиня весьма распространенной сказки. В русском переводе – Золушка.

¹⁴ Денежная единица в Португалии и других странах.

¹⁵ Название золотых монет, имевших хождение в Испании, Италии и Франции.

освещаешь самые темные места, только это ты не можешь осветить. Джионетта, оставь меня, я хочу побыть одна.

– Да мне и нужно оставить вас, так как вы сегодня еще ничего не ели. Если вы не станете есть, то потеряете свою красоту, и никто не позаботится о вас. Нами не занимаются, когда мы становимся некрасивыми, я это знаю, и тогда вам нужно будет, как и старой Джионетте, искать какую-нибудь Виолу, чтобы бранить и баловать ее в свою очередь. Пойду посмотрю, что поделывает наша каша.

«С тех пор, как я знаю этого человека, – подумала Виола, – с тех пор, как его черные глаза беспрестанно преследуют меня, я не узнаю себя: Я бы хотела бежать от самой себя, скользить вместе с лучами солнца по вершинам гор, сделаться чем-нибудь, что не принадлежит этой земле. Ночью передо мной проходят какие-то призраки, и я чувствую, как сильно бьется мое сердце, точно хочет выскочить из этой клетки».

Пока она шептала эти слова, кто-то тихо подошел к ней и слегка дотронулся до ее руки.

– Виола! Прекрасная Виола!

Она обернулась и узнала Глиндона. Его ясное лицо успокоило ее. Его приход обрадовал ее.

– Виола, – продолжал англичанин, – послушайте меня.

Он взял ее руку, заставил снова сесть на скамейку, с которой она встала, и сел рядом.

– Вы уже знаете, что я люблю вас. Не одна только жалость и восторг влекут меня к вам. Много причин заставляли меня говорить только глазами. Но сегодня, не знаю почему, я чувствую в себе больше мужества и силы, чтобы открыться вам и просить вас произнести приговор моей судьбе. У меня есть соперники, я это знаю; соперники более могущественные, чем бедный художник; может быть, они в то же время и счастливее меня?

Легкая краска покрыла лицо Виолы. Она опустила глаза, кончиком ноги начертила несколько иероглифических фигур и после минутного колебания отвечала с принужденной веселостью:

– Синьор, когда теряют время, чтобы заниматься актрисой, нужно всегда ожидать соперников. Несчастье нашей судьбы состоит в том, что мы не святы, даже для самих себя.

– Но вы не любите вашего удела, как бы блестящ он ни был, ваше сердце не имеет влечения к карьере, прославляющей ваш талант.

– О! Нет! – отвечала Виола с глазами, полными слез. – Было время, когда я любила быть жрицей поэзии и музыки; сегодня я чувствую только ничтожность своего положения, которое делает меня рабой толпы.

– Так бегите со мной! – воскликнул художник. – Бросьте навсегда эту жизнь, которая разбивает ваше сердце. Сегодня и всегда будьте подругой моей судьбы, моею гордостью, моей радостью, моим идеалом. Да, ты будешь вдохновлять меня; твоя красота сделается святой и знаменитой. В княжеских галереях толпа будет останавливаться перед святой или Венерой и будет говорить: «Это Виола Пизани!» Виола! Я обожаю тебя, о, скажи, что моя любовь не отвергнута.

– Ты добр, ты красив, – отвечала Виола, устремив свои прекрасные глаза на Глиндона, взявшего ее за руку, – но что могу я дать тебе взамен всего этого?

– Любовь, любовь, ничего, кроме любви.

– Любовь сестры?

– О! Не говорите со мной с такой жестокой холодностью.

– Это все, что я чувствую в отношении вас. Послушайте меня, синьор; когда я смотрю на вас, когда я слышу ваш голос, я не знаю, что за тихое счастье успокаивает во мне лихорадочные, безумные мечты! Когда вас здесь нет, мне кажется, что на небе одной тучей стало больше; но эта туча скоро рассеивается. Тогда я не думаю о вас. Нет, я вас не люблю, а я буду принадлежать только тому, кого полюблю.

– Но я научу тебя любить меня, не бойся, невинность и молодость не знают никакой другой любви, кроме той, которую ты описываешь.

– Невинность! – повторила Виола. – Так ли это? Может быть... – Она остановилась и с усилием прибавила: – Чужеземец! Ты женился бы на сироте? Ты по крайней мере великодушен. Не невинность хотелось бы тебе уничтожить.

Глиндон, чрезвычайно удивленный, отодвинулся.

– Нет, этого не может быть, – продолжала она, вставая, но не подозревая о стыде и сомнениях, волновавших душу влюбленного Глиндона. – Оставьте меня, забудьте обо мне. Вы не понимаете, вы не можете понять характера той, которую вы думаете, что любите. С самого моего детства я жила с предчувствием, что избрана для какой-нибудь странной и необъяснимой судьбы, как будто отделенной от судьбы всего рода человеческого. Это чувство, иногда переполненное смутным, но очаровательным счастьем, а временами мрачным ужасом, пронизывает меня все сильнее и сильнее. Как будто туман медленно окружает меня. Мой час приближается, еще немного, и ночь наступит.

Глиндон слушал ее с видимым смущением. Когда она закончила, он сказал:

– Виола, ваши слова более чем когда-либо притягивают меня к вам. То, что чувствуете вы, чувствую и я. Меня тоже постоянно преследовало леденящее предчувствие. В толпе я чувствовал себя одиноким. В моих удовольствиях, в трудах и занятиях какой-то голос беспрестанно повторял мне: «Время готовит тебе в будущем мрачную тайну». Когда вы говорили, я слушал как будто голос моей души!

Виола посмотрела на него с удивлением и ужасом, ее лицо было бледно как мрамор и походило на лицо пророчицы, в первый раз слышащей голос божества, вдохновляющего ее. Постепенно черты ее прелестного лица приняли свое обычное выражение, краска жизни вернулась к ней, кровь снова закипела, сердце оживило тело.

– Скажите мне, – спросила она, оборачиваясь, – скажите, видели ли вы, знаете ли вы иностранца, о котором ходят в городе такие странные слухи?

– Вы говорите о Занони. Я его видел и знаю его, а вы? Ах! Он тоже хотел быть моим соперником, он тоже хотел бы похитить тебя!

– Вы ошибаетесь, – живо отвечала Виола с глубоким вздохом, – он первый сказал мне про вашу любовь: он заклинал меня не... не отталкивать ее.

– Странная личность! Непонятная загадка! Но зачем вы заговорили о нем?

– Зачем?... Ах да! Я хотела бы знать: в тот день, как вы его видели в первый раз, это предчувствие, о котором вы говорите, не охватило ли оно вас более ужасным образом, не чувствовали ли вы, что он отталкивает и в то же время влечет вас к себе, не чувствовали ли вы, – (здесь она заговорила с большим оживлением), – что с ним связана тайна вашей жизни?

– Все это я чувствовал, – отвечал Глиндон дрожащим голосом, – когда в первый раз находился в его обществе. Вокруг меня все дышало счастьем, подле меня музыка, зеленые рощи, веселый разговор, надо мной безоблачное небо, а между тем колени мои дрожали, волосы становились дыбом, кровь застыла в жилах. С того дня все мои мысли раздваивались между им и тобой.

– Довольно! Довольно! – прервала Виола тихим голосом. – Во всем этом рука Провидения, я не могу больше говорить с вами. Прощайте!

Быстро вошла она в дом и заперла дверь.

Глиндон не пошел за ней; и как бы то ни показалось странным, у него не было подобного желания.

Мысли и воспоминание той звездной ночи, проведенной в городском саду, и странного разговора с Занони заглушили в нем всякое человеческое чувство. Даже Виола если и не была забыта, то исчезла, как тень, в глубоких тайниках его сердца. Он дрожал под палящими лучами

солнца и медленными шагами направился к более многолюдным кварталам самой оживленной части города.

Книга третья Теургия

I

В это время Виола нашла случай заплатить за доброту, оказанную ей музыкантом, который принял ее к себе в дом после смерти отца и матери.

Старый Бернарди выбрал трем своим сыновьям ту же карьеру, по которой шел сам, и все трое покинули Неаполь, чтобы зарабатывать деньги в более богатых городах Северной Европы, где не было столько музыки и музыкантов. В его доме, для утешения старой жены, оставалась только маленькая девочка, живая, веселая, с черными глазами, восьми лет, ребенок его второго сына, мать которой умерла при ее рождении.

Месяцем раньше событий, к рассказу о которых мы приступаем, паралич принудил Бернарди отказаться от его профессии.

Он был отличным человеком, добрым, но легкомысленным и жил в основном своим заработком. Он получал, правда за свои прошлые заслуги, небольшое вознаграждение, но его едва хватало на самые скромные нужды, и у него были некоторые долги. К его столу приближалась нищета, отвратительная гостья, которую благодарная улыбка и великодушная игра Виолы выгнали из дому.

Но действительно доброму сердцу недостаточно что-то посылать и давать; есть нечто еще более великодушное: это посещения и утешения. Ни одного дня не проходило, чтобы блестящий идол всего Неаполя не посещал дома Бернарди.

Вдруг испытание более жестокое, чем бедность и паралич, поразило старого музыканта. Его маленькая Беатриса внезапно заболела одною из тех опасных и смертельных лихорадок, которые так хорошо известны жителям юга; Виола объявила, что будет сидеть у изголовья своей маленькой любимицы.

Беатриса очень любила Виолу, и ее старые родственники были уверены, что одного ее присутствия было достаточно, чтобы вылечить дорогую больную.

Но когда пришла Виола, бедная девочка уже потеряла сознание.

К счастью, в этот вечер в Сан-Карло не было спектакля. Виола решила провести ночь у постели больной и делить с родными все опасности этого страшного бдения. Ночью положение ребенка ухудшилось, доктор (этот почтенный человек никогда не блистал своим искусством в Неаполе) покачал своей напудренной головой, понюхал ароматическую соль, прописал какое-то пустое лекарство и удалился.

Старый Бернарди сел к постели в угрюмом молчании. Это была последняя нить, привязывавшая его к жизни. Когда разобьется этот якорь, слабому кораблю останется только утонуть.

Старик, одной ногой уже стоящий в могиле и сидящий у смертного одра ребенка, представляет самое страшное зрелище человеческой нищеты. Жена была деятельнее; у ней были надежды, слезы. Виола расточала свои заботы всем троим.

Но к утру положение Беатрисы так ухудшилось, что сама Виола начала отчаиваться.

В эту минуту она заметила, что старуха, давно стоявшая на коленях перед образом святого, встала, надела накидку и шляпу и бесшумно вышла из комнаты. Виола осторожно последовала за ней.

– Слишком холодно, матушка, чтобы вы выходили сегодня; позвольте мне сходить за доктором.

– Я не за ним иду, дитя. Мне говорили о человеке, который был добр к бедным и спасал больных, от которых отказывались доктора. Я пойду к нему и скажу: «Синьор, мы бедны во всем, но вчера мы были богаты любовью. Сами мы подходим к концу нашей жизни, но мы живы в нашей внучке; возвратите нам наше сокровище, возвратите нам нашу молодость. Сделайте так, чтобы мы умерли, благословляя Бога, при виде нашего любимого создания, при виде того, что оно переживет нас».

С этими словами она ушла.

Отчего, Виола, твое сердце забилося так сильно? Ужасный крик страдания вернул ее к ребенку; у постели, не зная об уходе своей жены, неподвижно, с сухими глазами, устремленными на агонию маленького создания, сидел старик; мало-помалу крики ослабли и перешли в глухие стоны, конвульсии утихли.

Ясный дневной свет наполнил комнату; на лестнице послышались шаги, старуха быстро вошла и, бросившись к постели, кинула на больную быстрый взгляд.

– Она еще жива, синьор, она еще жива!

Виола прижимала к своей груди голову ребенка; она подняла глаза и узнала Занони. Он улыбнулся ей с выражением ласкового и нежного одобрения и взял ребенка из ее рук.

Даже в эту минуту, когда он молчаливо нагнулся к бледному личику больной, суеверный страх смешивался у Виолы с надеждами.

Законными ли средствами, святыми ли источниками искусства врачевания он собирается...

Она вдруг прервала эти вопросы, которые мысленно задавала самой себе, так как черные глаза Занони были устремлены на нее, точно он читал в ее душе; лицо его пробудило в Виоле угрызения совести, так сильно выражало оно презрение, смешанное с упреком.

– Успокойтесь, – сказал он, тихо повертываясь к старику, – опасность не превышает человеческих познаний.

Он вынул маленький хрустальный флакон и налил в воду несколько капель заключавшейся в нем жидкости.

Лекарство едва коснулось губ ребенка, как уже подействовало. Губы и щеки порозовели; через несколько секунд больная глубоко заснула, а дыхание ее стало совершенно ровным.

Тогда старик встал, нагнулся к больной, прислушался и осторожно удалился в угол комнаты, где залился слезами и стал благодарить небо.

Бедный старый Бернарди был до тех пор плохим христианином; никогда страдание не возвышало его мысли над землею. Несмотря на его лета, он никогда не думал о смерти, как это следовало бы. Подвергавшаяся опасности жизнь ребенка пробудила беззаботную душу старика.

Занони произнес несколько слов на ухо старухе, и она увела своего мужа из комнаты.

– Вы боитесь, Виола, оставить меня на час с этим ребенком? Вы все еще думаете, что это дело дьявола?

– Ах, синьор! – воскликнула Виола. – Простите меня, простите меня! Вы заставляете жить детей и стариков молиться. С этих пор никогда мои мысли не будут несправедливы к вам...

До восхода солнца Беатриса была вне всякой опасности; а в полдень Занони ушел от благодарности и благословений старых супругов; запирая дверь, он увидел ожидавшую его Виолу.

Она робко остановилась перед ним, со сложенными на груди руками и опущенными глазами.

– Неужели вы меня одну оставите несчастной!

– Какого же излечения ждете вы от лекарств? Если вы так скоро начинаете дурно думать о тех, которые помогли вам и хотели бы еще служить вам, то у вас сердце нездорово, и... Не

плачьте так, вы, которая заботится о больных и утешает несчастных; я хотел скорее похвалить вас, чем сделать вам выговор. Простить вас! Жизнь нуждается в постоянном прощении; значит, первая обязанность есть прощать.

– О! Нет, не прощайте меня еще. Я этого не стою; так как даже в эту минуту, когда я знаю, как я неблагодарна, думая и подозревая того, который спас меня, счастье, а не угрызения совести, заставляет меня плакать. О! продолжала она с жаром, не подозревая в своей невинности и благородных чувствах, какие тайны она выдает. – Вы не знаете, как мне было горько не считать вас лучше, чище, непорочнее всех остальных людей. Когда я увидела вас, богатого и благородного, оставляющего свой дворец, чтобы принести в хижину помощь и утешение, когда я услышала благословения бедных людей, обращенные к вам, я почувствовала тогда, как мое собственное сердце возвысилось. Я почувствовала себя доброй от вашей доброты, благородной во всех своих мыслях, которые не были для вас обидой.

– Неужели, Виола, вы думаете, что стоит так хвалить за простое применение науки к жизни? Первый встречный доктор позаботится о больной за известное вознаграждение. А разве молитвы и благословения не награда, еще более драгоценная, чем золото?

– И мои, значит, имеют тоже свою цену? Вы не станете отталкивать их?

– Ах, Виола, – воскликнул Занони с внезапным жаром, заставившим покраснеть его, – кажется, вы одна на земле владеете силой заставить меня страдать или быть счастливым.

Он замолчал; его лицо снова приняло грустное выражение.

– И это, – продолжал он, переменяя тон, – потому, что, если бы вы захотели следовать моим советам, мне кажется, я мог бы направить невинное сердце к счастливой судьбе.

– Ваши советы! Я покорюсь им. Делайте со мной, что хотите. Когда вас здесь нет, я похожа на ребенка посреди тумана; все пугает меня. С вами моя душа расширяется и весь свет кажется мне лучше и прекраснее. Не отказывайте мне в вашем присутствии. Я сирота, неразумная и одинокая!

Занони отвернулся и, помолчав с минуту, спокойно отвечал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.